

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Горное гнездо



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Горное гнездо

«Public Domain»

1884

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Горное гнездо / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1884

Д.Н. Мамин-Сибиряк – известный русский писатель XIX века, автор знаменитого цикла романов, который современники называли «летописью уральской жизни». «Горное гнездо» – один из лучших романов писателя, рассказывающий об упорной и беспощадной борьбе между владельцами заводов.

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1884

© Public Domain, 1884

Содержание

I	6
II	10
III	16
IV	20
V	25
VI	32
VII	36
VIII	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Горное гнездо

Вот придет барин – Барин нас рассудит...

Некрасов

I

– Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!!.

В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезабилье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели; она любила понежиться часов до двенадцати. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем.

Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца; под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило девять часов. Нет, это было невыносимо!.. Раиса Павловна дернула за сонетку.

– Ну? – крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.

– Сейчас будут-с.

– Видно, в курятнике своем сидит?

– Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит...

Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.

– Ты чего тут торчишь чучелом гороховым? – сердито оборвала ее взволнованная барыня.

– Когда прикажете подавать одеваться?

– Ах, да... Некогда мне... Принеси пока оренбургский платок.

Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустила в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту: желтое, сморщенное лицо, с мешками под глазами, неприятно выкаченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под пятьдесят лет. «Ведьма... Нет, хуже: старая баба», – думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива, по крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли; всеразрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.

– Оставь! – капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку. – Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку. Слышишь?

Прошло мучительных десять минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову: «Генерал Блинов честный человек... С ним едет одна *особа*, которая пользуется безграничным влиянием на генерала; она, *кажется*, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность...»

Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую тремя окнами на главную площадь Кукарского завода, а двумя в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним придавлен-

ными линиями поднимались контуры трудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и тысячью дорогих безделушек, беспорядочной кучен занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и наконец помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внутренней стене, над широким оттоманом, помещались олени рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя обстановкой.

В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся – и не в свою пользу – с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в «штите» выкупались другими неоцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии Кукарских заводов, можно так: представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев; снизу со всех сторон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводовладельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливым всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору.

Раиса Павловна, как жена главного управляющего Кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенностью Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч:

«Я уже писал вам, что Евгений Константиныч (заводовладелец) очень сблизился с генералом Блиновым, и не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект – пока неизвестно, но Блинову удалось убедить Евгения Константиныча отправиться нынче же на Урал, а это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно

влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответствующие меры к приезду Евгения Константиныча. От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кой-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношения с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться: продадут... Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь: господь милостив! А вы спросите меня о Прейне, как он? – скажу одно, что по-прежнему, как флюгер, вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно, и следует надеяться, так это на Прейна: с ним Евгений Константиныч никогда не расстанется, а генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам интересно бы узнать, что эта за особа, которая вертит генералом, – разузнавал и пока узнал только то, что она живет с генералом в гражданском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу.

Главное, нужно подготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив бог... С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константиныч и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение двадцати лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константиныч очень были заинтересованы одной балериной и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч».

За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отворенную половинку дверей свою седую, обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.

– Вы... что же это вы делаете со мной?! – с крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.

– Я? – удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломьянковое пальто.

– Да, вы... Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно наконец!..

– Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще десятый час на дворе.

– Вот полюбуйтесь! – сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо. – Вы только и знаете, что свой десятый час...

– От Прохора Сазоныча-с... – в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и сначала рассматривая письмо издали.

– Да читайте... тьфу!.. Точно старая баба с печи слезает...

Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его, строчка за строчкой. По его оплывшему, жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.

– Ну?..

– Нужно будет с Платоном Васильичем посоветоваться...

– Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили: *я буду советовать с Платоном Васильичем...* Ха-ха!.. Для этого я вас и звала сюда!.. Если хотите знать, так Платон Васильич не

увидит этого письма, как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильич? – дурак и больше ничего... Да говорите же наконец или убирайтесь, откуда пришли! Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что слово *особа* подчеркнуто?

– Точно так-с.

– Вот меня это и бесит... Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.

– Нет, не будет. Ох, не будет! – каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. – И обо мне есть: «настроены против Сахарова в особенности»... Ничего не разберу!..

– Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да с Прейном – это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?

Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые, жирные плечи.

В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду весело заливалась безыменная птичка; набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сиреней и акаций, врывался в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием влетела в комнату какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.

– Ну?

– Это Тетюев да Майзель механику подводят, – проговорил Родион Антоныч.

– И опять глупо: этакую новость сообщил! Кто же этого не знает... ну, скажите, кто этого не знает? И Вершинину, и Майзелю, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места; даже я за вас не могу поручиться в этом случае, но это – все пустяки и не в том дело. Вы мне скажите: кто эта особа, которая едет с Блиновым?

– Не знаю.

– Так узнайте! Ах, господа! господа! Непременно узнайте, и сегодня же!.. От этого все зависит: мы должны приготовиться. Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней... Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.

– Вот что, Раиса Павловна, – заговорил Родион Антоныч, снимая очки, – ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым...

– Ну?..

– Так вот от Прозорова и можно будет узнать.

– Ах, действительно... Как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше! Так, так... Вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной все разузнайте от него. Ведь Прозоров болтун, и от него все на свете можно узнать... Отлично!..

– Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна... – с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.

– Это почему?

– Да так... Вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит...

– Ну, это вздор... Он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет.

– Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...

– Ну, черт с вами, убирайтесь в свой курятник! – сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку. – Афанасья! Одеваться... да живее!.. Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч!

«Ох, дрянь дело», – думал Родион Антоныч, вылезая из кабинета.

Его оплывшее лицо, блестящее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.

II

Через полчаса Раиса Павловна спускалась с открытой веранды в густой и тенистый господский сад, который зеленой узорчатой прорезью драпировал берёг пруда. На ней теперь было надето платье из голубого альпага, отделанное дорогими кружевами; красиво собранные рюши были схвачены под горлом бирюзовой брошью. В волосах, собранных в утреннюю прическу, удачно скрывалась чужая коса, которую носила Раиса Павловна очень давно. И в костюме, и в прическе, и в манере себя держать – везде сквозила какая-то фальшивая нота, которая придавала Раисе Павловне непривлекательный вид отжившей куртизанки. Впрочем, она это знала сама, но не стеснялась своей наружностью и даже точно нарочно щеголяла эксцентричностью костюма и своими полумужскими манерами. То, что губит в общественном мнении других женщин, для Раисы Павловны не существовало. На остроумном языке Прозорова эта особенность Раисы Павловны объяснялась тем, что «подозрение да не коснется жены Цезаря». Ведь Раиса Павловна была именно такой женой Цезаря в маленьком заводском мирке, где вся и все преклонялось пред ее авторитетом, чтобы вдоволь позлословить на ее счет за глаза. Как умная женщина, Раиса Павловна все это отлично понимала и точно наслаждалась развертывавшейся пред ней картиной человеческой подлости. Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней, лестили и подличали наперерыв. Это было даже пикантно и приятно щекотало расшатавшиеся нервы жены Цезаря.

Чтобы пройти к Прозорову, который в качестве главного инспектора заводских школ занимал один из бесчисленных флигелей господского дома, нужно было миновать ряд широких аллей, перекрещивавшихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. Сад был устроен на широкую барскую, ногу. Оранжереи, теплички, клумбы цветов, аллеи и узкие дорожки красиво пестрили зеленую полосу берега. В воздухе пахучей струей разливался аромат только что распустившихся левкоев и резеды. Сирень, как невеста, стояла вся залитая напухшими, налившимися почками, готовыми развернуться с часу на час. Подстриженные щеткой акации образовали живые зеленые стены, в которых там и сям уютно прятались маленькие зеленые ниши с крошечными садовыми диванчиками и чугунными круглыми столиками. Эти ниши походили на зеленые гнездышки, куда так и тянуло отдохнуть. Вообще садовник хорошо знал свое дело и на пять тысяч, которые ему ежегодно ассигновало кукарское заводоуправление специально на поддержку сада, оранжерей и теплиц, делал все, что мог сделать хороший садовник: зимой у него отлично цвели камелии, ранней весной тюльпаны и гиацинты; огурцы и свежая земляника подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. Только несколько отдельных куп из темных елей и пихт да до десятка старых кедров красноречиво свидетельствовали о том севере, где цвели эти выхолненные сирени, акации, тополи и тысячи красивых цветов, покрывавших клумбы и грядки яркой цветистой мозаикой. Растения были слабостью Раисы Павловны, и она каждый день по несколько часов проводила в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на весь сад, на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его построек и на далекие окрестности.

Вид на Кукарский завод и на стеснившие его со всех сторон горы из господского сада, а особенно с веранды господского дома, был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности; на ближайшей красовалось своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый гребень. Издали эти две возвышенности походили на ворота, в которые выливалась горная река Кукарка, чтобы дальше сделать колено под крутой лесистой горой, оканчивавшейся уютным пиком с воздушной часовенкой на самом вершине. Менаду этими возвышенностями и по

берегу пруда крепкие заводские домики выровнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества. Пять больших церквей красовались на самых видных местах.

Сейчас под плотиной, где сердито бурлила бойкая Кукарка, с глухим вздрагиванием погромыхивали громадные фабрики. На первом плане дымились три доменных печи; из решетчатых железных коробок вечно тянулся черным хвостом густой дым, прорезанный снопами ярких искр и косматыми языками вырывавшегося огня. Рядом стояла черной пастью водяная лесопильня, куда, как живые, ползли со свистом и хрипеньем ряды бревен. Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю, оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим царством огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками и зеленевшего по горам леса невольно манила к себе глаз своим простором, свежестью красок и далекой воздушной перспективой.

Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не хватало солнца. Раиса Павловна вошла в открытую дверь полусгнившей, покосившейся террасы. В первой комнате никого не было, как и в следующей за ней. Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями и сборной мебелью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными: на полу оставались следы грязных ног, окна были покрыты пылью, везде царил страшный беспорядок. Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба. Раиса Павловна поморщилась и презрительно съежила плечи.

«Это какая-то конюшня...» – брезгливо подумала она, заглядывая в следующую узкую полутемную комнату.

Она в нерешительности остановилась в дверях, когда из глубины до ее слуха долетел речитатив Мефистофеля:

Красотка-то немножко устарела...

– Это вы, Виталий Кузьмин, на мой счет упражняетесь? – весело спросила Раиса Павловна, переступая порог.

Старчески-фальшивый голос смолк, и в ответ послышался тихий, с детскими нотками смех.

– Царица Раиса! какими судьбами!.. – заговорил небольшого роста худощавый господин, поднимаясь с прорванного клеенчатого дивана.

– Здравствуйте, великий человек... на малые дела! – развязно отозвалась Раиса Павловна, протягивая руку чудаку-хозяину. – Вы тут что-то такое пели сейчас?

– Да, да... – торопливо заговорил Прозоров, поправляя сбившийся на шее галстук. – Действительно, пел... Узрел сии голубые одежды, сию накладную косу, сие раскрашенное лицо – и запел!

– Если все остроумие заключается у вас сегодня в местоимении *сей*, то это немного скучно, Виталий Кузьмич.

– Что делать, что делать, голубушка! постарел, поглупел, выдохся... Ничто не вечно под луной!

– Где у вас тут присесть можно? – спрашивала Раиса Павловна, напрасно отыскивая глазами стул.

– А вот, пожалуйста на диван! Располагайтесь. Однако какими это судьбами занесло вас, царица Раиса, в мою берлогу?

– По старой памяти, Виталий Кузьмич... Когда-то и вы писывали стишки для женщины в голубых одеждах.

– О, помню, помню, царица Раиса! Дайте ручку поцеловать... Да, да... Когда-то, давно-давно, Виталий Прозоров не только декламировал вам чужие стихи, но и сам парил для вас. Ха-ха... Получается даже каламбур: парил и парил. Так-с... Вся жизнь состоит из таких каламбуров! Тогда, помните эту весеннюю лунную ночь... мы катались по озеру вдвоем... Как теперь вижу все: пахло сиренями, где-то заливался соловей! вы были молоды, полны сил, и судеб повинуюсь закону...

Ты помнишь чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Прозоров припал своей седевшей головой к руке Раисы Павловны, и она почувствовала, как на руку закапали крупные слезы... Ей сделалось жутко от двойного чувства: она презирала этого несчастного человека, отравившего ей жизнь, и вместе с тем в ней смутно проснулось какое-то теплое чувство к нему, вернее сказать, не к нему лично, а к тем воспоминаниям, какие были связаны с этой кудрявой и все еще красивой головой. Раиса Павловна не отнимала руки и смотрела на Прозорова большими остановившимися глазами. Это узкое лицо с козлиной бородкой и большими, темными, горячими глазами все еще было красиво какой-то беспокойной, нервной красотой, хотя кудрявые темные волосы уже давно блестели сединой, точно серебристой плесенью. Такой же плесенью был покрыт и живой, остроумный мозг Прозорова, разлагавшийся от собственной работы.

– А теперь, – заговорил Прозоров, прерывая тяжелую паузу, – я смотрю на развалины моей Трои, которая напоминает мне о моем собственном разрушении. Да, да... Но я еще нахожу капельку поэзии:

Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здоровье Мери,
Милой Мери моей...

«Кабинет» Прозорова, занимавший узкую проходную комнату, что-то вроде коридора, был насквозь пропитан дымом дешевых сигар и запахом водки. Ободранный письменный стол, придвинутый к внутренней стене, был завален книгами, которые лежали здесь в самом поэтическом беспорядке. Тут же валялись листы исписанной бумаги и пустая бутылка из-под водки. В углу комнаты помещался шкаф с книгами, в другом – пустая этажерка и сломанное кресло с вышитой цветными шелками спинкой. Измятый, небрежный костюм хозяина соответствовал обстановке кабинета: летнее пальто из парусины съезжилось от стирки и некрасиво суживало и без того его узкие плечи; такие же брюки, смятая сорочка и нечищенные, порыжевшие сапоги дополняли костюм. Раиса Павловна готова была пожалеть этого жалкого старика, который уже заметил это мимолетное движение, и по его худощавому лицу скользнула презрительно-нахальная улыбка, которая Раисе Павловне была особенно хорошо знакома.

– А я зашла к вам за Лушей... – деловым тоном заговорила Раиса Павловна, испытывая маленькое смущение.

– Знаю, знаю... – торопливо отозвался Прозоров, взбивая на голове волосы привычным жестом. – Знаю, что за делом, только не знаю, за каким...

– Я же сказала вам.

– Ах, да... Верую, господа, помоги моему неверию. За Лушей... Так.

– А ведь она у вас совсем большая. Необходимо о ней позаботиться...

– Совершенно верно!

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

– Особенно таким отцом, каким судьба так несправедливо наградила бедную Лушу.

– Да, но я только отрицательным образом несправедлив к моей дочери, тогда как вы своим влиянием прививаете самое положительное зло.

– Именно?

– Именно набиваете ей голову тряпками и разной бабьей философией. Я, по крайней мере, не вмешиваюсь в ее жизнь и предоставляю ее самой себе: природа – лучший учитель, который никогда не ошибается...

– И я так же рассуждала бы, если бы не любила вашей Луши.

– Вы? Любили? Перестаньте, царица Раиса, играть в прятки; мы оба, кажется, немного устарели для таких пустяков... Мы слишком эгоисты, чтобы любить кого-нибудь, кроме себя, или, вернее сказать, если мы и любили, так любили и в других самих же себя. Так? А вы, кроме того, еще умеете ненавидеть и мстить... Впрочем, я если уважаю вас, так уважаю именно за это милое качество.

– Благодарю. Откровенность за откровенность; бросьте этот старый хлам и лучше расскажите мне, что за человек генерал Блинов, с которым вы учились.

– Блинов... генерал Блинов... Да, Мирон Блинов. Прозоров остановился и, взглянув на Раису Павловну с своей ехидной улыбкой, проговорил:

– Так вот зачем вы пожаловали ко мне!

– Что же из этого?

– А для чего вам понадобился Блинов? Опять какая-нибудь мудреная комбинация в области политики...

– Если спрашиваю, значит мне это нужно знать, а для чего нужно – дело мое. Поняли? Бабье любопытство одолело.

– Я так спросил... Так вам, значит, нужно выправить через меня справку о Мироне Геннадьиче? Извольте... Во-первых, это очень честный человек – первая беда для вас; во-вторых, он очень умный человек – вторая беда, и, в-третьих, он, к вашему счастью, сам считает себя умным человеком. Из таких умных и честных людей можно веревки вить, хотя сноровка нужна. Впрочем, Блинов застрахован от вашей бабьей политики... Ха-ха!..

– Я не нахожу ничего смешного в том; что Мирон Геннадьич находится под сильным влиянием одной особы, которая...

– ...Которая безобразна, как гороховое чучело, – подхватил Прозоров удачно подобрешенную реплику, – стара, как попова собака, и умна, как дьявол.

– А вы не знаете, кто эта особа сама по себе?

– Н-нет... Кажется, из девиц легкого чтения или из кухарок, но вообще не высокого полета. Ха-ха!.. Представьте же себе такую комбинацию: Блинов – профессор университета, стяжал себе известное имя, яко политико-эконом и светлая финансовая голова, затем, как я уже сказал вам, хороший человек во всех отношениях – и вдруг этот самый генерал Блинов, со всей своей ученостью, честностью и превосходительством, сидит под башмаком какого-то уроды. Я еще понимаю такую ошибку, потому что когда-то сам имел несчастье увлечься такой женщиной, как вы. Ведь и вы меня любили когда-то, царица Раиса...

– Я? Никогда!..

– Немножко?

– А вы видели эту особу, которая держит генерала под башмаком? – перебила Раиса Павловна этот откровенный вопрос.

– Издали. Про нее можно сказать словами балаганных остряков, что издали она безобразна, а чем ближе, тем хуже. Послушайте, однако, для чего вы меня исповедуете обо всем этом?

– А вы до сих пор не можете догадаться, что это секрет, – с улыбкой ответила Раиса Павловна, – а секретов вам, как известно, доверять нельзя.

– Да, да... Все разболтаю: язык мой – враг мой, – согласился Прозоров с полукомическим вздохом.

Раиса Павловна просидела в каморке Прозорова еще с полчаса, стараясь выведать у своего болтливового собеседника еще что-нибудь о таинственной особе. Прозоров в таких случаях не заставлял себя просить и принялся рассказывать такие подробности, которые даже не позаботился сколько-нибудь прикрасить для вероятности.

– Ну, вы, кажется, уж того... – заметила Раиса Павловна, поднимаясь с места.

– Убей меня бог, если вру!

Чтобы придать своим рассказам оттенок действительности, Прозоров углубился в воспоминания собственной юности, когда он еще студентом занимал вместе с Блиновым крошечную каморку в 17-й линии Васильевского острова. Славное было время, хотя Блинов был один из самых тупых студентов. Решительно не подавал никаких надежд, зубрил напропалую, вообще являлся дюжинной натурой и самой жалкой посредственностью. После их дороги разошлись, а теперь Блинов – видный ученый и превосходительная особа, тогда как Прозоров заживо тонет в водке.

– Кто же вам велит пить? – строго проговорила Раиса Павловна, стараясь не глядеть на своего собеседника.

– Кто меня заставляет? – спросил Прозоров, запуская обе руки в свои седые кудри.

– Да, вас...

– Эх, царица Раиса... Зачем вы меня спрашиваете? – застонал Прозоров. – Вы ведь очень хорошо знаете всю эту историю: душа болит у Виталия Кузьмича, вот он и пьет. Думал когда-то гору своротить, а запнулся о соломинку... Знаете, у меня на днях блеснула очень хорошая теория, которую можно назвать *теорией жертв*. Да, да... Всякое движение вперед и во всякой сфере требует своих жертв. Это железный закон!.. Возьмите промышленность, науку, искусство – везде казовые концы, которыми мы любуемся, выкупаются целым рядом жертв. Каждая машина, каждое усовершенствование или изобретение в области техники, каждое новое открытие требует тысяч человеческих жертв, именно в лице тех тружеников, которые остаются благодаря этим благодеяниям цивилизации без куса хлеба, которых режет и дробит какое-нибудь глупейшее колесо, которые приносят в жертву своих детей с восьми лет... То же самое творится и в области искусства и науки, где каждая новая истина, всякое художественное произведение, редкие жемчужины истинной поэзии – все это выросло и созрело благодаря существованию тысяч неудачников и непризнанных гениев. И заметьте, эти жертвы не случайность, даже не несчастье, а только простой логический вывод из математически верного закона. Вот я и сопричислил себя к лику этих неудачников и непризнанных гениев: имя нам легион... Единственное утешение, которое осталось нам на долю, когда рядом генералы Блиновы процветают и блаженствуют, – есть мысль, что если бы не было нас, не было бы и действительно замечательных людей. Да-с...

Прозоров остановился перед своей слушательницей в трагической позе, какие «выкидывают» плохие провинциальные актеры. Раиса Павловна молчала, не поднимая глаз. Последние слова Прозорова отозвались в ее сердце болезненным чувством: в них было, может быть, слишком много правды, естественным продолжением которой служила вся беспорядочная обстановка Прозоровского жилья.

– И заметьте, – импровизировал Прозоров, начиная бегать из угла в угол, – как нас всех, таких межеумков, заедает рефлексия: мы не сделаем шагу, чтобы не оглянуться и не посмот-

реть на себя... И везде это проклятое я! И понятное дело! Настоящего, определенного занятия у нас нет, – вот мы и копаемся в собственной душонке да вытаскиваем оттуда разный хлам. Главное, я сознаю, что такое положение самое распоследнее дело, потому что создается скромным желанием оправить себя в глазах современников. Ха-ха!.. И сколько нас, таких артистов? Есть даже такие счастливицы, что ухитряются целую жизнь пользоваться репутацией умных людей. Благодарю бога, что я не принадлежу к их числу, по крайней мере... Выеденное яйцо – вернее, болтун – и дело с концом.

– О чем же у вас душа болит?

– Ах, да... Душа-то?.. А болит она, царица Раиса, о том, что я мог выполнить и не выполнил. Самое тяжелое чувство... И так во всем: в общественной деятельности, в своей профессии, особенно в личных делах. Идешь туда – и, глядишь, пришел совсем в другое место; хочешь принести человеку пользу – получается вред, любишь человека – платят ненавистью, хочешь исправиться – только глубже опускаешься... Да. А там, в глубине души, сосет этакий дьявольский червяк: ведь ты умнее других, ведь ты бы мог быть и тем-то, и тем-то, ведь и счастье себе своими руками загубил. Вот тут и приходит мат, хоть петлю на шею!

– Я вас за что люблю? – неожиданно прервал Прозоров ход своих мыслей. – Люблю за то именно, чего мне недостает, хотя сам я этого, пожалуй, и не желал бы иметь. Ведь вы всегда меня давили и теперь давите, даже давите вот своим настоящим милостивым присутствием...

– Я ухожу.

– Еще одно слово! – остановил Прозоров свою гостью. – Моя песенка спета, и обо мне нечего говорить, но я хочу просить вас об одном... Исполните?

– Не знаю, какая просьба.

– Исполнить ее вам ничего не стоит...

– Обещать, не зная что, по меньшей мере глупо.

Прозоров неожиданно опустился перед Раисой Павловной на колени и, схватив ее за руку, задышавшимся шепотом проговорил:

– Оставьте Лушу в покое... Слышите: оставьте! Я встретился с вами в несчастную минуту и дорого заплатил за это удовольствие...

– И я, кажется, не дешево!

– Но моя девочка не виновата ни душой, ни телом в наших ошибках...

– Перестаньте ломать комедию, Виталий Кузьмич, – строго заговорила Раиса Павловна, направляясь к выходу. – Достаточно того, что я люблю Лушу гораздо больше вашего и позабочусь о ней...

– Неужели вам мало ваших приживалок, которыми вы занимаете своих гостей?! – со злостью закричал Прозоров, сжимая кулаки. – Зачем вы втягиваете мою девочку в эту помойную яму? О, господи, господи! Вам мало видеть, как ползают и пресмыкаются у ваших ног десятки подлых людей, мало их унижения и добровольного позора, вы хотите развратить еще и Лушу! Но я этого не позволю... Этого не будет!

– Вы забываете только одно маленькое обстоятельство, Виталий Кузьмич, – сухо заметила Раиса Павловна, останавливаясь в дверях, – забываете, что Луша совсем большая девушка и может иметь свое мнение, свои собственные желания.

Прозоров остановился, что-то подумал, махнул рукой и каким-то упавшим голосом спросил:

– Скажите, по крайней мере, для чего вы меня исповедовали о генерале Блинове?

Раиса Павловна только пожала плечами и презрительно улыбнулась. Она вздохнула свободнее, когда очутилась на открытом воздухе.

– Дурак!.. – энергично проговорила она, шагая по черемуховой аллее к центральной площадке.

III

Возвращаясь по саду домой, Раиса Павловна перебирала в уме только что слышанную болтовню Прозорова. Что такое генерал Блинов – она почти поняла, или, по крайней мере, отлично представляла себе этого человека; но относительно особы она мало вынесла из своего визита к Прозорову. Эта особа так и оставалась искомым неизвестным. Прозоров рисовал слишком густыми красками и, наверно, любую половину приврал. Раису Павловну смущало больше всего противоречие, которое вытекало из характеристики Прозорова: если эта таинственная особа стара и безобразна, то где же секрет ее влияния на Блинова, тем более что она не была даже его женой? Что-нибудь да не так, особенно если принять во внимание, что генерал, по всем отзывам, человек умный и честный... Конечно, бывают иногда случаи.

Занятая своими мыслями, Раиса Павловна не заметила, как столкнулась носом к носу с молоденькой девушкой, которая шла навстречу с мохнатым полотенцем в руках.

– Ах, как ты меня испугала, Луша!

– Куда это вы ходили, Раиса Павловна? – весело спрашивала девушка, целуя Раису Павловну звонким поцелуем.

– К вам ходила... С папенькой твоим беседовали чуть не целый час. Даже голова заболела от его болтовни... Ты что это, купалась?

– Да.

Девушка показала свои густые мокрые волосы, завернутые толстым узлом и прикрытые сверху пестрым бумажным платком, который был сильно надвинут на глаза, как носят заводские бабы. Под навесом платка беззаботно смеялись бойкие карие глаза, опущенные длинными ресницами; красивый с горбиком нос как-то особенно смешно морщился, когда Луша начинала смеяться. Это молодое лицо, теперь все залитое румянцем, было хорошо даже своими недостатками: маленьким лбом, неправильным овалом щек, чем-то бесхарактерным, что лежало в очерке рта. Раиса Павловна любила это лицо и теперь с особенным удовольствием осматривала девушку с ног до головы: положительно, Луша унаследовала от отца его нервную красоту. С материнской улыбкой она осматривала теперь новенькое платье Луши. Это была дорогая обновка из чечунчи, и девушка в первый раз надела ее, чтобы идти купаться. Нет, в этой девчонке есть именно то качество, которое сразу выделяет женщину из тысячи других бесцветных кукол.

– Луша, я скажу тебе очень интересную новость... – заговорила Раиса Павловна, обнимая девушку за талию и увлекая ее за собой. – К нам едет Евгений Константиныч...

– Лаптев?

– Да. Только это пока секрет. Понимаешь?

– Понимаю, понимаю...

– С ним, конечно, едет Прейн, потом толпа молодежи... Превесело проведем все лето. Самый отличный случай для твоих первых триумфов!.. Да, мы им всем вскружим голову... У нас один бюст чего стоит, плечи, шея... Да?.. Милочка, женщине так мало дано от бога на этом свете, что она своим малым должна распорядиться с величайшей осторожностью. Притом женщине ничего не прощают, особенно не прощают старости... Ведь так... а?..

При последних словах Раиса Павловна накинулась на девушку с такими ласками, от которых та принуждена была защищаться.

– Ах, какая ты недотрога!.. – с улыбкой проговорила Раиса Павловна. – Не нужно быть слишком застенчивой. Все хорошо в меру: и застенчивость, и дерзость, и даже глупость... Ну, сознайся, ты рада, что придет к нам Лаптев? Да?.. Ведь в семнадцать лет жить хочется, а в каком-нибудь Кукарском заводе что могла ты до сих пор видеть, – ровно ничего! Мне, старой бабе, и то иногда тошнехонько делается, хоть сейчас же камень на шею да в воду.

– А Лаптев долго пробудет у нас?

– Пока ничего не знаю, но с месяц, никак не более. Как раз пробудет, одним словом, столько, что ты успеешь повеселиться до упаду, и, кто знает... Да, да!.. Говорю совершенно серьезно...

Луша тихо засмеялась теми же детскими нотками, как смеялся отец; ровные белые зубы и ямочки на щеках придавали смеху Луши какую-то наивную прелесть, хотя карие глаза оставались серьезными и в них светилось что-то жесткое и недоверчивое.

– Вы меня уж не за Прейна ли прочите? – проговорила Луша, делая гримасу.

– Нет. Прейн никогда не женится. Но это ему не мешает быть еще красивым мужчиной, конечно, красивым для своих лет. Когда-то он был замечательно хорош, но теперь...

– Мне он кажется просто отвратительным.

– Да? А между тем от него еще недавно женщины сходили с ума... Впрочем, ты еще была совсем крошкой, когда Прейн был здесь в последний раз.

– Все-таки я отлично его помню: зубы гнилые и смотрит так... совсем особенно. Я всегда боялась когда он начинал смеяться.

– Дурочка!.. Что же мы здесь шатаемся с тобой пойдем ко мне кофе пить.

– Я схожу переодеться сначала.

– Вздор! Можешь у меня переодеться. Афанасья уберет тебе волосы.

Они пошли от пруда по направлению к главному зданию господского дома. Солнце было уже высоко и подобрало ночную росу с травы и цветов. Только кой-где, под прикрытием кустов, оставались еще темно-зеленые полосы мокрой зелени, точно сейчас покрытой лаком. Из этих тенистых уголков так и обдавало свежестью, которая быстро исчезала под наплывом сгущавшегося летнего зноя. Легкое грозное облачко, точно вскинутый кверху ворох темных кружев, круто поднималось над далекими горами, оставляя за собой длинную тень, скользившую по земле широким шлейфом.

С веранды дамы прошли прямо в уборную Раисы Павловны, великолепную голубую комнату с атласными обоями, штофными драпировками и ореховой мебелью в стиле которого-то Людовика. Мраморный умывальник, низкая резная кровать с балдахином над изголовьем, несколько столиков самой вычурной работы, в углах шифоньерки – вообще обстановка уборной придавала ей вид и спальни и будуара. Тысячи безделушек валялись кругом без всякой цели и порядка, единственно потому только, что их так бросили или забыли: японские коробки и лакированные ящички, несколько китайских фарфоровых ваз, пустые бонбоньерки, те специально дамские безделушки, которыми Париж наводняет все магазины, футляры всевозможной величины, формы и назначения, флаконы с духами, целый арсенал принадлежностей косметики и т. д. Приготовленное Афанасьей платье ждало Раису Павловну на широком атласном диванчике; различные принадлежности дамского костюма перемешались в беспорядочную цветочную кучу, из-под которой выставялись рукава платья с болтавшимися манжетами, точно под этой кучей лежал раздавленный человек с бессильно опустившимися руками. Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом.

– Афанасья, приberi голову Луше, – лениво проговорила Раиса Павловна, усталым движением опускаясь на кушетку. – А я подожду...

Афанасья, худая и длинная особа, с костлявыми руками и узким злым лицом, молча принялась за дело. Девушка с удовольствием поместилась к дамскому уборному столику, овальное зеркало которого совсем пряталось под кружевным пологом, схваченным наверху короной из голубых и белых лент. Раиса Павловна несколько минут следила за работой Афанасьи и нахмурилась. Верная служанка, видимо, была недовольна своей работой и сердито приводила в порядок рассыпавшуюся по плечам Луши волну русых волос; гребень ходил у ней в руках неровно и заставил девушку несколько раз сморщиться от боли.

– Оставь... – проговорила Раиса Павловна, когда Афанасья принялась заплетать тяжелую косу. – Можешь идти.

Афанасья что-то проворчала себе под нос и вышла из комнаты.

– Настоящая змея! – с улыбкой проговорила Раиса Павловна, вставая с кушетки. – Я сама устрою тебе все... Сиди смиренно и не верти головой. Какие у тебя славные волосы, Луша! – любовалась она, перебирая в руках тяжелые пряди еще не просохших волос. – Настоящий шелк... У затылка не нужно плести косу очень туго, а то будет болеть голова. Вот так будет лучше...

С ловкостью камеристки Раиса Павловна сделала пробор на голове, заплела косу и, отойдя в сторону, несколько времени безмолвно любовалась сидевшей неподвижно Лушей. Когда та хотела встать, она остановила ее:

– погоди, у меня есть одна штучка, которая к тебе очень пойдет.

Вытащив из шифоньерки какой-то длинный футляр, Раиса Павловна торопливо достала из него несколько ниток красных кораллов с золотой застежкой и надела их на Лушу.

– Вот теперь хорошо! – довольным голосом заметила она. – Красные кораллы идут ко всякой коже...

Луша покраснела от удовольствия; у нее, кроме бус из дутого стекла, ничего не было, а тут были настоящие кораллы. Это движение не ускользнуло от зоркого взгляда Раисы Павловны, и она поспешила им воспользоваться. На сцену появились браслеты, серьги, броши, кольца. Все это примеривалось перед зеркалом и ценилось по достоинству. Девушке особенно понравилась брошь из восточного изумруда густого кровавого цвета; дорогой камень блестел, как сгусток свежезапекшейся крови.

– Не правда ли, хорошо? – спрашивала Раиса Павловна и потом вдруг расхохоталась.

Девушка смутилась и начала торопливо срывать с себя чужие сокровища, но Раиса Павловна удержала ее за руку.

– Знаешь, над чем я хохочу? – шептала она, вздрагивая от смеха. – Если бы твой папа увидел теперь нас, он просто приколотил бы и тебя и меня... Ведь он ненавидит все, что нравится женщинам. Ха-ха... Он хотел сделать из тебя мальчика – да? Но природа перехитрила его. Разве мы виноваты, если эти безделушки делают нас не красивее, а заметнее. Женщина – пассивное существо; ей, особенно в известном возрасте, поневоле приходится прибегать к искусству... Но это к тебе не относится: ты слишком хороша сама по себе, чтобы портить себя разным дорогим хламом. Какая-нибудь лента, несколько живых цветов – вот все, что для тебя теперь необходимо. Так?... Только не следует забывать, что всякая красота, особенно типичная, редкая красота, держится недолго и ее приходится поддерживать. Вот об этом всякой женщине следует подумать заблаговременно. Женщина всегда останется женщиной, что бы там ни говорили... Будь ты умна, как все семь греческих мудрецов, но ни один мужчина не посмотрит на тебя, как на женщину, если ты не будешь красива. Заметь, что даже самой красивой девушке не всегда будет семнадцать лет... Время – наш самый страшный враг, и мы всегда должны это помнить, *ma petite*¹.

Этот разговор был прерван появлением Афанасьи с кофе. За ней вошел в комнату высокий господин в круглых очках. Он осмотрелся в комнате и нерешительно проговорил:

– Раиса Павловна, вы слышали новость?

– Какую?

– Евгений Константиныч едет к нам...

– Неужели?

– Да, да... Все говорят об этом. Получено какое-то письмо. Я нарочно зашел к тебе узнать, что это такое?..

¹ Моя маленькая (фр.).

– Можешь успокоиться: Лаптев действительно едет сюда. Я сегодня получила письмо об этом.

– Здравствуйте, Платон Васильич... – заговорила Луша.

– Ах, да... Виноват, я совсем не заметил тебя, – рассеянно проговорил Платон Васильич. – Я что-то хуже и хуже вижу с каждым днем... А ты выросла. Да... Совсем уж взрослая барышня, невеста. А что папа? Я его что-то давно не вижу у нас?

– Виталий Кузьмич сердится на тебя, – ответила Раиса Павловна.

Платон Васильевич постоял несколько минут на своем месте, рассеянным движением погладил свою лысину и вопросительно повернул сильно выгнутые стекла своих очков в сторону жены. На его широком добродушном лице с окладистой седой бородой промелькнула неопределенная улыбка. Эта улыбка рассердила Раису Павловну. «Этот идиот невыносим», – с щемящей злобой подумала она, нервно бросая в угол какой-то подвернувшийся под руку несчастный футляр. Ее теперь бесила и серая летняя пара мужа, и его блестящие очки, и нерешительные движения, и эта широкая лысина, придававшая ему вид новорожденного.

– Ну? – сердито бросила она свой обычный вопрос.

– Я – ничего... Я сейчас иду в завод, – заговорил Платон Васильевич, ретируясь к двери.

– Ну и отправляйся в свой завод, а мы здесь будем одеваться. Кофе я пришлю к тебе в кабинет.

Когда Платон Васильевич удалился, Раиса Павловна тяжело вздохнула, точно с ее жирных плеч скатилось тяжелое бремя. Луша не заметила хорошенько этой семейной сцены и сидела по-прежнему перед зеркалом, вокруг которого в самом художественном беспорядке валялись броши, браслеты, кольца, серьги и колье. Живой огонь бриллиантов, цветные искры рубинов и сапфиров, радужный, жирный блеск жемчуга, молочная теплота большого опала – все это притягивало теперь ее взгляд с магической силой, и она продолжала смотреть на разбросанные сокровища, как очарованная. Воображение рисовало ей, что эти бриллианты искрятся у ней на шее и разливают по всему телу приятную теплоту, а на груди влажным огнем горит восточный изумруд. В карих глазах Луши вспыхнул жадный огонек, заставивший Раису Павловну улыбнуться. Кажется, еще одно мгновение, и Луша, как сорока, инстинктивно схватила бы первую блестящую безделушку. Девушка очнулась только тогда, когда Раиса Павловна поцеловала ее в зарумянившуюся щечку.

– А... что?.. – бормотала она, точно просыпаясь от своего забытья.

– Ничего... Я залюбовалась тобой. Хочешь, я подарю тебе эту коралловую нитку?

Действительность отрезвила Лушу. Инстинктивным движением она сорвала с шеи чужие кораллы и торопливо бросила их на зеркало. Молодое лицо было залито краской стыда и досады: она не имела ничего, но милостыни не принимала еще ни от кого. Да и что могла значить какая-нибудь коралловая нитка? Это душевное движение понравилось Раисе Павловне, и она с забившимся сердцем подумала: «Нет, положительно, эта девчонка пойдет далеко... Настоящий тигренок!»

IV

Известие о приезде Лаптева молнией облетело не только Кукарекни, но и все остальные заводы.

Интересно было проследить, как распространилось это известие по всему заводскому округу. Родион Антоныч не сказал никому о содержании своего разговора с Раисой Павловной, но в заводоуправлении видели, как его долгушка не в урочный час прокатилась к господскому дому. Это – раз. Когда служащие навели необходимые справки, оказалось, что за Родионом Антонычем рассылка из господского дома бегала целых три раза. Вот вам – два. А это уж что-нибудь значило! После таких экстренных советов Раисы Павловны с своим секретарем всегда следовали какие-нибудь важные события. Когда служащие вкривь и вкось обсуждали все случившееся, в заводскую библиотеку, которая помещалась в здании заводоуправления, прибежал Прозоров и торопливо сообщил, что на заводы едет Лаптев. Он сам не слыхал об этом, но дошел до такого заключения путем чисто логических выкладок и, как мы видим, не ошибся. В библиотеке в это время сидели молодой заводский доктор Кормилицын и старик Майзель, второй заводский управитель.

– Что же тут особенного: едет – так едет! – жидким тенориком заметил доктор, поправляя свою нечесаную гриву.

– А па-азвольте узнать, Виталий Кузьмич, от кого вы это узнали? – спрашивал Майзель, отчеканивая каждое слово.

– Все будешь знать, скоро состаришься, – уклончиво ответил Прозоров, ероша свои седые кудри. – Сказал, что едет, и будет с вас.

Майзель презрительно сжал свои губы и подозрительно чмокнул углом рта. Его гладко остриженная голова, с закрученными седыми усами, и военная выправка выдавали старого военного, который постоянно выпячивал грудь и молодецкато встряхивал плечами. Красный короткий затылок и точно обрубленное лицо, с тупым и нахальным взглядом, выдавали в Майзеле кровного «русского немца», которыми кишмя кишит наше любезное отечество. В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой чеканке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к слепому подчинению живой человеческой массы, как сам умел сгибаться в кольцо перед сильными мира сего. К этому остается добавить только то, что Майзель никак не мог забыть тех жирных генеральских эполет, которые уже готовы были повиснуть на его широких плечах, но по одной маленькой случайности не только не повисли, но заставили Майзеля выйти в отставку и поступить на частную службу. Рядом с Майзелем, вылощенным и вычищенным, как на смотр, доктор Кормилицын представлял своей длинной, нескладной и тощей фигурой жалкую противоположность. В нем как-то все было не к месту, точно платье с чужого плеча: тонкие ноги с широчайшими ступнями, длинные руки с узкой, бессильной костью, впалая чахоточная грудь, расшатанная походка, зеленовато-серое лицо с длинным носом и узкими карими глазами, наконец вялые движения, где все выходило углом. Прозоров бойко и насмешливо посмотрел на своих слушателей и проговорил, обращаясь к Майзелю:

– Итак, драгоценнейший Николай Карлыч, дни наши сочтены, и воздастся коемуждо поделом его...

– Что вы хотите этим сказать?..

– Ха-ха... Ничего, ничего! Я пошутил...

– И очень глупо!..

– Нет, кроме шуток: с Лаптевым едет генерал Блинов, и нам всем достанется на орехи.

Последняя фраза целиком долетела до ушей входившего в библиотеку бухгалтера из Заозерного завода. Сгорбленный лысый старичок тускло посмотрел на беседовавших, неловко

поклонился им и забился в самый дальний угол, где из-за раскрытой газеты торчало его любопытное старческое ухо, ловившее интересный беглый разговор.

Этого было достаточно, чтобы через полчаса все заводские служащие узнали интересную новость. Майзель торопливо уехал домой, чтобы из первых рук сообщить все слышанное своей Амалии Карловне, у которой – скажем в скобках – он нес очень тяжелую фронтную службу. Тем, кто не был в этот день на службе, интересное известие обязательно развез доктор Кормилицын, причем своими бессвязными ответами любопытную половину человеческого рода привел в полное отчаяние. Через два часа новинка уже катилась по дороге в Заозерный завод и по пути была передана ехавшему навстречу кассиру из Куржака и Мельковскому заводскому надзирателю. Словом, полученное утром Раисой Павловной известие начало циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший переполох. Как это часто случается, последним узнал эту интересную новость главный управляющий Кукарских заводов Платон Васильич Горемыкин. Он с механиком дождался отливки катальных валов, когда старик дозорный, сняв шапку, почтительно осведомился, не будет ли каких особенных приказаний по случаю приезда Лаптева.

– Что-нибудь да не так, – усомнился Горемыкин.

– Нет, они едут-с... – настаивал дозорный. – Вся фабрика в голос говорит.

– Вы разве ничего не слыхали, Платон Васильич? – с удивлением спрашивал механик.

– Нет.

– Странно... Все решительно говорят о приезде Евгения Константиныча на заводы.

– Гм... Нужно будет спросить у Раисы Павловны, – решил Горемыкин. – Она знает, вероятно.

Главный виновник поднявшегося переполоха, Прозоров, был очень доволен той ролью, которая ему выпала в этом деле. Пущенным наудачу слухом он удовлетворил свое собственное озлобленное чувство против человеческой глупости: пусть-де их побеснуются и поломают свои пустые головы. С другой стороны, этому философу доставляло громадное наслаждение наблюдать базар житейской суеты в его самых живых движениях, когда наверх всплывали самые горячие интересы и злобы. Подавленная тревога Майзеля, детское равнодушие доктора, суета мелкой служительской сошки – все это доставляло богатый запас пищи для озлобленного ума Прозорова и служило материалом для его ядовитых сарказмов. Побродив по заводууправлению, где в четырех отделениях работало до сотни служащих, Прозоров отправился к председателю земской управы Тетюеву, который по случаю летних вакаций жил в Кукарском заводе, где у него был свой дом.

– Слышали новость, Авдей Никитич? – крикливо спрашивал Прозоров еще из передней небольшого вертлявого господина в синих очках, который ждал его в дверях гостиной.

– Да, слышал... Только это нас не касается, Виталий Кузьмич, – отвечал председатель, протягивая свою короткую руку. – Для земства это совершенно безразлично.

– Ой ли?

– Конечно, безразлично... Хотя бы три дня шел дождь Лаптевыми, скажу словами Лютера, до земства это не касается... Земство должно держать высоко знамя своей независимости, оно стоит выше всего этого.

Прозоров засмеялся.

– Вы чему смеетесь?

– Да так... Скажу вам на ушко, что всю эту штуку я придумал – и только! Ха-ха!.. Пусть их поворочают мозгами...

– В таком случае, я могу вас уверить, что Лаптев действительно едет сюда. Я это знаю из самых наидостовернейших источников...

– Вот те и раз! Значит, иногда можно соврать истинную правду.

– Вы, конечно, знаете, какую борьбу ведет земство с заводоуправлением вот уже который год, – торопливо заговорил Тетюев. – Приезд Лаптева в этом случае имеет для нас только то значение, что мы окончательно выясним наши взаимные отношения. Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде всего необходимо понять его планы. Мы так и сделаем. Я поклялся сломить заводоуправление в его нынешнем составе и добьюсь своей цели.

– Война алой и белой розы?

– Да, около того. Я поклялся провести свою идею до конца, и не буду я, если когда-нибудь изменю этой идее.

– Враг силен, Авдей Никитич...

– Чтобы я когда-нибудь перешел на сторону Лаптева?! Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть тень чего-нибудь подобного.

Плотная, приземистая фигура Тетюева, казалось, дышала той энергией, которая слышалась в его словах. Его широкое лицо с крупными чертами и окладистой русой бородкой носило на себе интеллигентный характер, так же как и простой домашний костюм, приспособленный для кабинетной работы. Вообще Тетюев представлял собой интересный тип земского деятеля, этого homo novus² захолустной провинциальной жизни. Отец и дед Тетюева служили управителями в Кукарском заводе и прославились в темные времена крепостного права особенной жестокостью относительно рабочих; под их железной рукой стонали и гнулись в бараний рог не одни рабочие, а весь штат заводских служащих, набранных из тех же крепостных. Авдей Никитич только чуть помнил это славное время процветания своей фамилии, а самому ему уже пришлось пробивать дорогу собственным лбом и не по заводской части. Полученное им университетское образование, вместе с наследством после отца, дало ему полную возможность не только фигурировать с приличным шиком в качестве председателя Ельниковской земской управы, но еще загигать углы такой крупной силе, как кукарское заводоуправление. В последнем случае одною из побудительных причин, поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое простое обстоятельство: он не мог никак примазаться к заводам, куда его неудержимо тянуло в силу семейных традиций, и теперь в качестве земского деятеля солил заводоуправлению в его настоящем составе.

– А я вот «Лоэнгрин» здесь штудирую... – объяснял Тетюев, усаживая гостя на диван. – Чертовски трудная эта вагнеровская музыка.

– Ага!

– Знаете, такие оригинальные музыкальные фразы попадают, что бьешься-бьешься над ними...

– Ага! Ага, ворона!

– Да вот я вам лучше сыграю, сами увидите!

Тетюев подбежал к щегольскому роялю и бойко заиграл какую-то сцену из второго акта «Лоэнгрин». Поместившись на диване, Прозоров старался вслушаться в шумные аккорды музыки будущего; музыкальная тема была слишком растянута и расплывалась в неясных деталях. Старик предпочитал музыку прошедшего, где все было ясно и просто: хоры так хоры, мелодия так мелодия, а то извольте-ка выдержать всю пьесу до конца. Играл Тетюев порядочно и страстно любил музыку, которой отдавал все свое свободное время. В нем была артистическая жилка, которая теперь сближала этих антиподов. В сущности, Прозоров не понимал Тетюева: и умный он был человек, этот Авдей Никитич, и образование приличное получил, и хорошие слова умел говорить, и благородной энергией постоянно задыхался, а все-таки, если его разобрать, так черт его знает, что это был за человек... Собственно, Прозорова отталкивала та мужицкая закваска, какая порой сказывалась в Тетюеве: неискренность, хитрость, неуловимое себе на уме, которое вырабатывалось под давлением крепостного режима целым рядом

² Нового человека (*лат.*).

поколений. Прозорову хотелось верить в Тетюева, но эту веру постоянно подмывала какая-то холодная и фальшивая нотка.

Обстановка большого председательского дома отличалась пестрой смесью старой крепостной роскоши с требованиями нового времени. Почерневшие кресла из красного дерева с тонкими ножками и выгнутыми спинками простояли в этом доме целых полвека и теперь старчески-неприятно смотрели на новую венскую мебель, на пестрые бархатные ковры и на щегольской рояль. Старик Тетюев был крепкий человек и не допустил бы к себе в дом ничего легковесного: каждая вещь должна была отслужить минимум сто лет, чтобы добиться отставки. Но старика Тетюева не стало, и в его дом вместе с новыми легковесными людьми ворвался целый поток разной дребедени. Звуки вагнеровской оперы дополняли картину, наполняя стены, выстроенные крепостным трудом, мелодиями музыки будущего. Прозоров слушал «Лоэнгина» и незаметно позабылся, погружившись в воспоминания своего тревожного прошлого, где вставало столько дорогих сердцу лиц и событий.

– Ну-с, как вы находите? – спрашивал хозяин, поднимаясь из-за рояля.

– А... что?

Тетюев немного обиделся. Невнимание к его игре задело его за живое, как артиста.

– Вот что, – прибавил он. – Соловья музыкой будущего не кормят... Так? Адмиральский час на дворе, и пора закусить.

От закуски Прозоров не отказался, тем более что Тетюев любил сам хорошо закусить и выпить, с темп специально барскими приемами, какие усваиваются на официальных обедах и парадных завтраках. За бутылкой рейнвейна Прозоров разболтался, и Тетюев много и долго говорил о процветании Ельниковского земства, о народном образовании, а особенно о том, что Кукарские заводы в стройном земском концерте являются страшным диссонансом, который необходимо перевести в гармонические комбинации. Развивая свою мысль, он доказывал, как дважды два четыре, что заводы должны быть обложены вчетверо больше, чем теперь, что должны быть обеспечены на счет заводовладельца все искалеченные на заводской работе, изработавшиеся и сироты, что он притянет заводовладельца по поводу профессионального образования и т. д. Прозоров, слушая все это внимательно, пил и не возражал, улыбаясь блаженной улыбкой довольного пьяницы. В заключение Тетюев не без ловкости принялся расспрашивать Прозорова о генерале Блинове, причем Прозоров не заставлял просить себя лишний раз и охотно повторил то же самое, что утром уже рассказывал Раисе Павловне.

– Так, так... – мягким грудным баритоном поддакивал Тетюев, рассматривая охмелевшего Прозорова через очки. – А я, знаете, несколько иначе думал об этом генерале Блинове...

– Да что вам дался этот генерал Блинов? – закончил Прозоров уже пьяным языком. – Блинов... хе-хе!.. это великий человек на малые дела... Да!.. Это... Да ну, черт с ним совсем! А все-таки какое странное совпадение обстоятельств: и женщина в голубых одеждах приходила утру глубоко... Да!.. Чер-рт поberi... Знает кошка, чье мясо съела. А мне плевать.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,

– декламировал старик, склоняясь на подушку дивана.

– Отдохните здесь, Виталий Кузьмич.

– И то добре... «Звезды сияют во мраке их глаз»... Недурно сказано... Чисто восточная форма сравнения, а в этом анафемском – «сияют» – настоящая музыка! Хе-хе!.. Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь! фюить...

И погибнет священная Троя,
И град копыеносца Приама священный...

V

Отдыхать у Тетюева Прозоров, однако, не остался, а побрел домой, «под свою смоковницу», как он объяснил своим заплетавшимся языком.

– Блинов едет... Великий человек едет!.. Ха-ха... – думал вслух Прозоров, нетвердой походкой приближаясь к своему жилищу. – Светило науки, финансист... Х-ха!.. Лукреция?

– Опять нализался?.. – сердито встретила отца Луша, помогая ему добраться до своего кабинета.

– М-мы завтракали, Лукреция... Авдей Никитич – хороший челаэк... Он... он задаст перцеазра с горошком царице Раисе. Х-ха... А Майзель – дурак... солдафон!..

Пошатываясь на месте, Прозоров изобразил дочери надутую фигуру русского немца. В следующий момент он представил вытянутую и сутуловатую «натуру» доктора и засмеялся своим детским смехом.

– А что, Лукреция, Яшка Кормилицын все еще ухаживает за тобой? Ах, бисов сын! Ну, да ничего, дело житейское, а он парень хороший – как раз под дамское седло годится. А все-таки враг горами качает:

Мой совет до о-обрученья
Две-ерь не отворя-ай!
Две-ерь не от-воо-ря-аай!..

– хрипло пропел Прозоров арию Мефистофеля.

– Ты слышал, папа, что сюда едет Лаптев? – перебила Луша пьяную болтовню старика.

– Слышал... Его тащит сюда на буксире генерал Блинов... Царица Раиса нарочно прибежала ко мне утром выведать кое-что о Блинове. Уж я ей врал-врал... Потом Тетюев тоже стороной выпытывал, и тому врал сторицей. Вот, Лукреция, поучайся житейской философии: когда-то Блинов... Ну, да что об этом говорить: плевать!.. Наше время другое было: идеалисты были, эстетики... На хороших словах помешались... Вам это даже слушать скучно, а мы обливались кровью над разными красивыми благоглупостями. Посвящали себя служению истине, добру и красоте, а вместо того вышло – распивочно и навьнос... Ха-а!.. Лукреция:

На щеках, как в жаркое лето,
Румянец, пылая, горит...
А сердце морозом одето,
И зимний там холод стоит.

– Будет, папа, ложись и выпись сначала. Твои стихи давно и всем надоели...

– Нет, постой, это Гейне стихи. Шалишь... Ты слушай:

Верь, милая! время настанет,
Время придет,
И солнце в сердечко заглянет,
И щечки морозом зальет!..

Гейне... О! это была такая шельма, Лукреция... это... это... ну, в ваше архиреальное время никто не напишет таких стихов! – болтал старик, обращаясь в пространство.

Девушка прошла в свою комнату, которая выходила в сад, села к окну и заплакала. Болтовня пьяного отца переполнила чашу. Разговоры Раисы Павловны привели Лушу в самое воз-

бужденное состояние, и она ушла из господского дома в каком-то тумане, унося в душе жгучую жажду иной жизни, о какой могла только мечтать. Действительность слишком мало отвечала этим мечтам; напротив, она шла вразрез с теми идеальными постройками, какие сложились в голове семнадцатилетней девушки. Жажда богатства, наслаждений, веселья – вот что теперь сладко кружило голову Луши, а тут полугнилой флигель, нищенская обстановка, позорная бедность в каждом углу, полусумасшедший пьяница-отец и какой-то идиот-поклонник, в лице доктора Кормилицына. Тут было от чего заплакать... Луша теперь ненавидела даже воздух, которым дышала: он, казалось ей, тоже был насыщен той бедностью, какая обошла флигелек Прозорова со всех сторон, пряталась в каждой складке более чем скромных платьев Луши, вместе с пылью покрывала полинялые цветы ее летней соломенной шляпы, выглядывала в отверстия пронесившихся прюнелевых ботинок и сквозила в каждую щель, в каждое отверстие.

Стоило ли жить так, как она жила? – думала девушка. Это какое-то прозябание, хуже – медленное разложение, как гниет где-нибудь в сыром углу плесень. И в то же время Раиса Павловна наслаждается всеми благами жизни, царствует в полном смысле этого слова. Кораллы, которые Раиса Павловна утром предлагала Луше, еще раз подняли в ней всю желчь; молодая гордость заколотила у нее в душе. Разве она нищая, чтобы принимать подарки от Раисы Павловны? Разве ей нужны эти безделушки? Нет, она задыхалась под наплывом не таких желаний: уж если роскошь – так настоящая роскошь, а не эти лохмотья роскоши, которые хуже ее бедности. В Луше теперь с страшной силой заговорил тот разлагающий элемент, который шаг за шагом незаметно привила к ней Раиса Павловна.

А тут еще Яшка Кормилицын... – со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по комнате из угла в угол. – Вот это было бы мило: madame Кормилицына, Гликерия Витальевна Кормилицына... Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть... Нужно быть идиоткой, чтобы слушать этого долговолосого дурня...

Подойдя к зеркалу, Луша невольно рассмеялась своей патетической реплике. На нее из зеркала с сдвинутыми бровями гневно смотрело такое красивое, свежее лицо, от недавних слез сделавшееся еще краше, как трава после весеннего дождя. Луша улыбнулась себе в зеркало и капризно топнула ногой в дырявой ботинке: такая редкая типичная красота требовала слишком изящной и дорогой оправы.

Чтобы понять странные мысли Луши, мы должны обратиться к самому Прозорову.

Это был замечательный человек в том отношении, что принадлежал к совершенно особенному типу, который, вероятно, встречается только на Руси: Прозорова заело красное словцо... С блестящими способностями, с счастливой наружностью в молодые годы, с университетским образованием, он кончил тем, что доживал свои дни в страшной глуши, на копеечном жалованье. Из богатой, но разорившейся помещицкой семьи по происхождению, Прозоров унаследовал привычки и замашки широкой русской натуры. Еще ребенком он поражал учителей своим светлым, бойким умом; в университете около него группировался целый кружок молодежи; первые житейские дебюты обещали ему блестящую будущность. «Прозоров далеко пойдет» – было общим мнением учителей и товарищей. Внимание женщин сопровождало каждый шаг молодого счастливец, который был так умен, находчив, остер и с таким редким талантом читал лучших поэтов. Прозоров готовился к университетской кафедре, где ему пророчили судьбу второго Грановского. Только один старичок профессор, к которому молодой магистрант иногда обращался за разными советами по поводу своей магистерской диссертации, в минуту откровенности прямо высказал Прозорову: «Эх, Виталий Кузьмич, Виталий Кузьмич... Хороший вы человек, и мне вас жаль!» – «Что так?» – «Да так... Ничего из вас не выйдет, Виталий Кузьмич». Этот профессор принадлежал к университетским замухрышкам, которые всю жизнь тянут самую неблагоприятную ляжку: работают за десятерых, не пользуются благами жизни и кончают тем, что оставляют после себя несколько томов исследования о каком-нибудь греческом придыхании и голодную семью. Товарищи-профессора относятся

к таким замухрышкам с сдержанным чувством ученого презрения, студенты свысока, – и вдруг именно такой замухрышка делает Виталию Прозорову, будущему Грановскому, такое обидное предсказание. В первый момент вся кровь бросилась в голову Прозорову, но он сдержал себя и с принужденной улыбкой спросил: «На каком же основании вы заживо меня хороните, Н. Н.?» – «Да как вам сказать... Одним словом, вы принадлежите к людям, про которых говорят, что в них бочка меду, да ложка дегтя».

Вся дальнейшая карьера Прозорова служила точно оправданием этого глупого пророчества. Началось с того, что Прозоров для первого раза «разошелся» с университетским начальством из-за самого ничтожного повода: он за глаза сострил над профессором, под руководством которого работал. Профессор смолчал, но вступились товарищи и провалили магистерскую диссертацию будущего Грановского по всем правилам искусства. От такой неожиданности Прозоров сначала опешил, а потом решился идти напролом, то есть взять магистра с бою, по рецепту Тамерлана, который учился своим военным успехам у «мравия», сорок раз втащившего зерно в гору и сорок раз свалившегося с ним, но все-таки втащившего его в сорок первый. Но, как на грех, в это время ему подвернулась одна девушка из хорошего семейства, которая отнеслась с большим сочувствием к его ученому горю. В отношениях с женщинами Прозоров держал себя очень свободно, а тут его точно враг попутал: в одно прекрасное утро он женился на сочувствовавшей ему девушке, точно для того только, чтобы через несколько дней сделать очень неприятное открытие, – именно, что он сделал величайшую и бесповоротную глупость... Он даже не любил своей жены, как припомнил после, а просто женился на ней от неожиданного огорчения.

К счастью Прозорова, жена ему попала умная и с твердым характером. Она очень много поддерживала мужа, но все-таки не могла его дотянуть до профессорской кафедры. Как все бесхарактерные люди, Прозоров во всех своих неудачах стал обвинять жену, которая мешала ему работать и постепенно низвела его с его ученой высоты до собственного среднего уровня. В течение десяти лет Прозорову привелось переменить больше десятка служебных мест. Сначала он обыкновенно легко осваивался с своим новым положением и новыми товарищами, а потом неожиданно возникало какое-нибудь препятствие, и Прозоров, в счастливом случае, когда его не выгоняли со службы, сам убирался подобру-поздорову. Таким образом, Прозоров успел послужить учителем в трех мужских гимназиях и в двух женских, потом был чиновником министерства финансов, из министерства финансов попал в один из женских институтов и т. д. И везде Прозоров был прежде всего сам виноват, то есть непременно что-нибудь сболтнет лишнее, посмеется над начальством, устроит каверзу. В конце концов он решил, что служить на коронной службе не стоит и, не долго думая, перешел на частную. Тут уж ему пришлось совсем плохо, тем более что никакой подходящей профессии он не мог себе подыскать и бестолково толкался между крупными промышленниками. В это тяжелое время он получил свою дурную привычку утешаться в холостой компании, где сначала пили шампанское, а потом спускались до сивухи.

Жена Прозорова скоро разглядела своего мужа и мирилась с своей мудреной долей только ради детей. Мужа она уважала как пассивно-честного человека, но в его уме разочаровалась окончательно. Так они жили год за годом с скрытым недовольством друг против друга, связанные привычкой и детьми. Вероятно, они так дотянули бы до естественной развязки, какая необходимо наступает для всякого, но, к несчастью их обоих, выпал новый случай, который перевернул все вверх дном.

В один из самых тяжелых моментов своего мудреного существования, когда Прозоров целых полгода оставался без всяких средств и чуть не сморил семьи голодом, ему предложили урок в очень фешенебельном аристократическом семействе, – именно: предложили преподавать русскую словесность скучавшей малокровной барышне, типичной представительнице вырождавшейся аристократической семьи. Здесь Прозоров развернулся и по обыкновению

показал товар лицом: его приличные манеры, остроты, находчивость и декламация открыли ему место своего человека и почти друга дома. Аристократическая обстановка богатого барского дома совсем опьянила увлекающуюся натуру Прозорова, тем более что для сравнения с ней вставало собственное полунищенское существование. Сделавшись почти своим человеком в доме, где он был совсем на особых правах, Прозоров позабыл, что он семейный человек и не в шутку увлекся одной барышней, которая жила у его патронов воспитанницей. Это и была Раиса Павловна, или, как ее там называли, Раечка. Стихи и самая непринужденная французская болтовня настолько сблизили молодых людей, что белокурая Раечка первая открыла чувства, какие питала к Прозорову, и не остановилась перед их реальным осуществлением даже тогда, когда узнала, что Прозоров не свободный человек. Умная, пылкая, с пикантным оттенком гривуазности³, она очертя голову отдалась Прозорову и быстро забрала его в свои бархатные руки. Эти интимные отношения, конечно, открылись; Раечку кое-как пристроили за инженера Горемыкина, а Прозорову пришлось вернуться к своим пенатам.

Как это нередко случается, жена Прозорова узнала последняя о разыгравшемся романе. Эта женщина слишком много перенесла в жизни, чтобы простить мужу ничем не заслуженное оскорбление, и разошлась с ним. Прозоров и здесь сыграл самую жалкую, бесхарактерную роль: валялся в ногах, плакал, рвал на себе волосы, вымаливая прощение, и, вероятно, добился бы обидного для всякого другого мужчины снисхождения, если бы Раиса Павловна забыла его. Но эта женщина хорошо помнила свою первую любовь и не выпускала Прозорова из вида. Явившись к Прозоровой, она сама объяснила ей все и устроила окончательный разрыв между супругами. Расставшись с мужем, жена Прозорова несколько лет перебивалась в столице уроками и кончила свою незадавшуюся жизнь скоротечной чахоткой. Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения ее памяти исправиться, но не мог никак освободиться от влияния Раисы Павловны, которая не выпускала его из своих рук. Это были самые странные отношения, какие только можно себе представить: Раиса Павловна ненавидела Прозорова и всюду таскала его за собой, заставляя опускаться все ниже и ниже. Неудачный декламатор очутился в положении самого тяжелого рабства, которое он не в силах был разорвать и которое он всюду таскал за собой, как каторжник таскает прикованное к ноге ядро. Когда Горемыкины поехали на Урал, Прозорову было приказано ехать туда же, где для него специально было создано место инспектора заводских школ. Раиса Павловна не умела прощать и заживо похоронила свою первую любовь в гнилом флигельке кукарского господского дома.

У Прозорова после жены осталась маленькая дочь, Луша, которая вместе с отцом переживала все невзгоды его цыганского существования. Это был восприимчивый, впечатлительный ребенок, к своему несчастью унаследовавший от отца его счастливую наружность и известную дозу того дегтя, каким был испорчен отцовский мед. Прозоров, несмотря на все свои недостатки, отлично понимал сложный характер подраставшей девочки и решился переломить природу воспитанием. Свою педагогическую деятельность он начал с того, что передел девочку мальчиком, точно в женском костюме таились все напасти и злобы, какими была отравлена жизнь Прозорова. Затем, с четырех лет он принялся проделывать на Луше все входившие в моду педагогические новинки: читать Луша училась по звуковому методу, играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци и т. д. Недостаток Прозоровского воспитания заключался в том, что он не мог выдержать характера в своих занятиях: то надсаживался и лез из кожи, то забывал о дочери на целый месяц. Девочка, пока была маленькой, мирилась с своим мужским костюмом, но с Фребелем и Песталоцци повела самую упорную, партизанскую войну, какую умеют вести только дети. А когда она подросла, Прозо-

³ Игривости, нескромности (*om fp. grivois*).

ров, к своему ужасу, убедился в той печальной истине, что его Лукреция увлеклась бантиками и ленточками гораздо больше тех девочек, которые всегда ходили в женских платьях.

Интересно проследить взаимные отношения между Лушей и Раисой Павловной. В первый момент, когда Раиса Павловна увидела маленькую девочку-сиротку, она почувствовала к ней почти органическую ненависть. Ребенок искал матери и с детской наивностью несколько раз ласкался к единственной женщине, которая напоминала ему мать. Но Раиса Павловна грубо и почти цинически отталкивала от себя эти доверчиво тянувшиеся к ней детские руки: она ненавидела эту девочку, которая для нее являлась всегда живым укором. Луша, как многие другие заброшенные дети, росла и развивалась наперекор всяким невзгодам своего детского существования и к десяти годам совсем выровнялась, превратившись в красивого и цветущего ребенка. Самая красота подраставшей Луши бесила Раису Павловну, и она с удовольствием по целым часам дразнила и мучила беззащитную девочку, которая слишком рано для своего возраста привыкла скрывать все свои душевные движения.

– Какая ты, Лукерка, упрямая, – удивлялась иногда Раиса Павловна. – Настоящая дикарка!

Девочка отмалчивалась в счастливом случае или убегала от своей мучительницы со слезами на глазах. Именно эти слезы и нужны были Раисе Павловне: они точно успокаивали в ней того беса, который мучил ее. Каждая ленточка, каждый бантик, каждое грязное пятно, не говоря уже о мужском костюме Луши, – все это доставляло Раисе Павловне обильный материал для самых тонких насмешек и сарказмов. Прозоров часто бывал свидетелем этой травли и относился к ней с своей обычной пассивностью.

Луше было двенадцать лет, когда в ее жизни произошел крупный переворот: раньше она бежала от преследований Раисы Павловны, теперь должна была бежать от ее ласк. Это случилось как-то вдруг. Раз летом, когда Раиса Павловна делала свой обычный предобеденный моцион по саду, она случайно забрела в самый глухой конец сада, куда редко заходила. На повороте одной аллеи она услышала чей-то шепот и сдержанный смех. Это, конечно, ее заинтересовало, а в следующий момент Раиса Павловна уже подкрадывалась к тому таинственному зеленому уголку, где ожидала вспугнуть влюбленную парочку. Действительно, разговаривали два голоса: один – детский, другой – женский. Раздвинув осторожно последний куст смородины, Раиса Павловна увидела такую картину: в самом углу сада, у каменной небеленой стены, прямо на земле сидела Луша в своем запачканном ситцевом платье и стоптанных башмаках; перед ней на разложенных в ряд кирпичках сидело несколько скверных кукол. Девочка разговаривала за всех разом, подавала реплики и впересыпку вставляла свои собственные замечания. Она ухитрилась даже сохранять интонацию всех действующих лиц. На сцене фигурировало четверо: папа, мама, Раиса Павловна и сама Луша.

– Я не люблю папу, потому что он боится Раисы Павловны, – говорила кукла Луша. – Когда я вырасту большая, я откушу вам нос, Раиса Павловна! У меня будут хорошие платья, много, много лент и такой же браслет, как у Раисы Павловны. Какая она злая... папа зовет ее старой крымзой... Ххи-ххи-и!.. Ну, старая крымза, сиди смиренно, пока я тебе не откусила нос. И коса у тебя фальшивая, и зубы фальшивые, и глаза подведены. Ах! как я тебя не люблю! А когда вырасту большая, поеду к маме... Мама ведь добрая, не такая, как папа. Мамочка, я приеду к тебе в гости... Ты обрадуешься мне... да?.. Не будешь смеяться надо мной, как Раиса Павловна? Славная ты моя, голубушка... Мы тогда прогоним Раису Павловну и будем жить вместе. Я выйду замуж за офицера с черными усами.

Вся эта детская беззаботная болтовня, как в фокусе, сосредоточивалась в одном магическом слове: мама... От него уже лучами расходились во все стороны детские грезы, воспоминания, радости и огорчения. В этом лепете звучало столько любви, чистой и бескорыстной, какая может жить только в чистом детском сердце, еще не омраченном ни одним дурным желанием больших людей. Так блестит алмазной яркой искрой капля ночной росы где-нибудь в густой

траве, пока не сольется с другими такими же каплями и не попадет в ближайший мутный ручеек...

Раиса Павловна не помнила, сколько прошло времени, пока она слушала маленькую глупую девочку. От этого детского лепета у ней точно что оборвалось и растаяло в груди. Домой она вернулась бледная и взволнованная, с красными глазами. Целую ночь затем ей снился тот зеленый уголок, в котором притаился целый детский мир с своей великой любовью, «Злая... ведьма...» – стояли у ней в ушах роковые слова, и во сне она чувствовала, как все лицо у ней горело огнем и в глазах накалились слезы. Она хотела обнять эту маленькую девочку, но та ловко скрывалась и убегала. Этот сон повторился, и Раиса Павловна не могла избавиться от него наяву. Что-то такое новое, хорошее, еще не испытанное проснулось у ней в груди, не в душе, а именно – в груди, где теперь вставала с страшной силой жгучая потребность не того, что зовут любовью, а более сильное и могучее чувство... Оно подавляло ее своей необъятностью, все остальное казалось таким жалким и ничтожным. Под наплывом этих ощущений Раиса Павловна сделала первый шаг к сближению с Лушей и сразу получила молчаливый, но глухой отпор. Луша с светлым инстинктом детства отстаивала неприкосновенность своего крошечного мирка, может быть слишком рано выкроившегося из пестрой смеси самых разнообразных впечатлений. Эта маленькая девочка каким-то чутьем разгадала истинные отношения своего отца к Раисе Павловне и почувствовала к ней непреодолимое отвращение, хотя в то же время, по странному психологическому процессу, в присутствии этой женщины каждый раз испытывала какое-то болезненное влечение к ней.

Если бы маленькая девочка с первого раза сдалась на ласки Раисы Павловны, тогда, по всей вероятности, это увлечение так же скоро прошло бы, как оно родилось. Но упорство Луши и ее недоверчивость только сильнее разжигали Раису Павловну: она, перед которой ползали и заискивали сотни людей, она бессильна перед какой-нибудь девчонкой... Самолюбивая до крайности, она готова была возненавидеть свою фаворитку, если бы это было в ее воле: Раиса Павловна, не обманывая себя, со страхом видела, как она в Луше жаждет долюбить то, что потеряла когда-то в ее отце, как переживает с ней свою вторую весну. Это чувство являлось результатом очень сложной душевной комбинации, составные нити которой проходили через целую жизнь.

Вот молодость Раисы Павловны, молодость в чужом богатом доме, где она испытала все прелести существования из милости. А между тем она была молода, хороша собой, умна, энергична. Случай с Прозоровым выкинул бы ее прямо на улицу, если бы не подвернулся Горемыкин, за которого она вышла замуж. Мужа она никогда не любила, а смотрела на него только как на мужа, то есть как на печальную необходимость, без которой, к сожалению, обойтись было нельзя. Платон Васильевич был честный и хороший человек, но он слишком был занят своей специальностью, которой посвящал почти все свободное время. По всей вероятности, ему, как многим другим труженикам, никогда не привелось бы играть никакой выдающейся роли. Таких «черноделов» много во всяких специальностях. Но Раиса Павловна не могла помириться с такой скромной долей и собственными силами потащила мужа в гору. Это была трудная работа, сопровождавшаяся неудачами и разочарованиями на каждом шагу. Старающаяся при помощи разных протекций и специально женских интриг составить карьеру мужу, Раиса Павловна случайно познакомилась с Прейном, который сразу увлекся белокурой красавицей, обладавшей тем счастливым «колоритным темпераментом», какой так ценится всеми пресыщенными людьми. О любви тут, конечно, не могло быть речи, но Раиса Павловна была молода, полна сил и переживала опасный душевный момент, когда настоящее было неизвестно, а будущее темно. Что происходило и произошло ли что-нибудь серьезное между ними – сказать трудно, но это знакомство совпало как раз с эмансипацией, и Горемыкин получил место главного управляющего Кукарских заводов. Много прошло времени с тех пор. Раиса Павловна успела утратить одно за другим все свои женские достоинства, оставшись при одном колорит-

ном темпераменте и беспокойном, озлобленном уме, который вечно чего-то искал и не находил удовлетворения. Полнота окончательно погубила и то последнее, что сохраняется красивыми женщинами от счастливой молодой поры. Но Прейн, несмотря на самые очевидные доказательства этих геологических переворотов, продолжал сохранять прежние дружеские отношения к Раисе Павловне, хотя успел за этот длинный период времени подарить своими симпатиями десятки других красивых женщин.

– Все эти мужчины, все до одного – подлецы! – таков был общий знаменатель, к которому пришла Раиса Павловна.

В Луше, таким образом, для Раисы Павловны сосредоточивались и подавленная жажда неудовлетворенного чувства и чисто материнские отношения, каких она совсем не испытала, потому что не имела детей. Когда прямая атака не удалась, Раиса Павловна пошла к своей цели обходным движением: она принялась исподволь воспитывать эту девочку, платившую ей самой черной неблагодарностью за все хлопоты. Капля за каплей она прививала девочке свой мизантропический взгляд на жизнь и людей, стараясь этим путем застраховать ее от всяких опасностей; в каждом деле она старалась показать прежде всего его черную сторону, а в людях – их недостатки и пороки. Такая политика, конечно, принесла самые быстрые плоды: Луша бессознательно копировала во всем свою воспитательницу и удивляла отца своими резкими выходками и недевической пронизательностью. Только в одном ученица и воспитательница расходились диаметрально: это было непреодолимое тяготение Луши к богатству. Но и этот недостаток в глазах Раисы Павловны вполне выкупался тем, что девушка была далеко от сорочьей жадности обыкновенных людишек. Ее трудно было купить теми блестящими безделушками, за которые продаются женщины. Сама Раиса Павловна любила не богатство, а власть.

VI

Все время, пока Родион Антоныч возвращался в своей зеленой тележке из господского дома домой, он вздыхал, делал кислые гримасы и морщился. Он был так удручен волновавшими его мыслями, что даже не замечал попадавшихся навстречу знакомых служащих и снимающих шляпы рабочих. В таком прескверном настроении Родион Антоныч миновал главную заводскую площадь, на которую выходило своим фасадом «Главное кукарское заводоуправление», спустился под гору, где весело бурлила бойкая река Кукарка, и затем, обогнув красную кирпичную стену заводских фабрик, повернул к пруду, в широкую зеленую улицу.

«Уж Прохор Сазоныч недаром помянул про меня в письме к Раисе Павловне, – с горечью думал Родион Антоныч, когда тележка мягко подкатилась к большому двухэтажному каменному дому, упиравшемуся тенистым садом прямо в пруд. – Ох, недаром... «Она настроена в особенности против Сахарова», – повторил про себя Родион Антоныч слова письма. – Вот не было печали, а тут на, расхлебывай... И чего ей понадобилось от меня? Ох-хо-хо!.. Да и какая там особа... Шлюха какая-нибудь примазалась к этому генералу Блинову и теперь всем и вертит. Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...»

Старичок дворник торопливо распахнул перед зеленой тележкой крепкие ворота, и она мирно подкатилась к раскрашенному деревянному подъезду, откуда как угорелый выскочил великолепный белый сеттер с желтыми подпалинами. Собака с радостным визгом металась около хозяина и успела выбить у него изо рта сигару, пока он грузно вылезал из своей тележки.

– Ох, не до тебя, Зарез... отстань! – стонал Родион Антоныч, хозяйским всевидящим оком оглядывая усыпанный желтым песочком и чисто подметенный широкий двор, конюшни, где торчала лошадиная голова, и ряд хозяйственных пристроек.

– Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешанинки, – проговорил он, обращаясь к дворнику. – Да тележку-то смазать надо, а то заднее левое колесо все поскрипывает... Ох, ничего вы не смотрите, погляжу я, все скажи да все укажи!.. Курочкам-то, курочкам-то задали ли корму даве, как я уехал?

– Обыкновенно, Родион Антоныч, все как следует, – каким-то убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая. – Курочки любят овес-от...

– Любят, любят... И ты вот тоже любишь его, Архипушка. Любишь ведь? Половину курочкам, а половину себе... Ох, за всеми за вами глаз да глаз нужен!

Архипушка только переминался на одном месте и почесывал в затылке, пока Родион Антоныч не прикрикнул на него:

– Ну, чего ты статуем-то торчишь передо мною? Вон и кучер, глядя на тебя, тоже вытирает глаза. Откладывайте лошадку да к столбу и привяжите. Пусть выстоится!

После этого нравоучения Родион Антоныч поднялся к себе наверх, в кабинет, бережно снял камлотовую крылатку, повесил ее в угол на гвоздик и посмотрел кругом взглядом человека, который что-то потерял и даже не может припомнить хорошенько, что именно. «Ах, да... едет Лаптев на заводы», – мелькнуло в голове Родиона Антоновича, когда он принялся раскуривать потухшую сигару. Эта мысль завертелась опять в его голове, как жестяное колесо в вентиляторе. Собственно Лаптева Родион Антоныч несколько не боялся и даже был рад его видеть, а вот эта особа, которая едет с генералом Блиновым... О, чтоб пусто было всем этим бабам!.. Родион Антоныч с тоской посмотрел на расписной потолок своего кабинета, на расписанные трафаретом стены, на шелковые оконные драпировки, на картину заводского пруда и облепивших его домиков, которая точно была нарочно вставлена в раму окна, и у него еще тяжелее засосало под ложечкой. На стене, у которой стояла удобная кушетка, было развешано несколько хороших охотничьих ружей: пара бельгийских двустволок, шведский штуцер, тульская дробовка и даже «американка», то есть американский штуцер Пибоди и Мартини. Этот

арсенал был красиво гарнирован различной охотничьей сбруей – ягдташами, патронницами, пороховницами, кожаными мешками с дробью, сумками и сумочками – вообще всякой охотничьей дрянью, назначение которой известно только записным охотникам.

«А я еще обещал на неделе ехать с Ильей Сергеичем за дупелями, – думал Родион Антоныч, взглянув на свои ружья, – вот тебе и дупеля... Ох-хо-хо!...»

По обстановке кабинета трудно было определить профессию его хозяина. О его секретарской деятельности говорил только стеклянный шкаф, плотно набитый какими-то канцелярскими делами, да несколько томиков разных законов, сложенных на письменном столе в пирамиду. Стеклянная старинная чернильница с гусиными перьями – Родион Антоныч не признавал стальных – говорила о той патриархальности, когда добрые люди всякой писаной бумаги, если только она не относилась к чему-нибудь божественному, боялись, как огня, и боялись не без основания, потому что из таких чернильниц много вылилось всяких зол и напастей. Чернильница Родиона Антоныча тоже могла бы много-много рассказать о своей деятельности. Сначала она стояла в заводской конторе, куда попал Родион Антоныч крепостным писцом на три с половиной жалованья; потом Родион Антоныч присвоил ее себе и перенес на край завода, в бедную каморку, сырую и вонючую. Дальше эта чернильница видела целый ряд метаморфоз, пока не попала окончательно в расписной кабинет, где все дышало настоящим тугим довольством, как умеют жить только крепкие русские люди. В крепостное время из этой чернильницы выходило много головомоек управителям и служащим, но тогда она не имела самостоятельного значения, а только служила орудием неистовавшего старика Тетюева. Настоящее дело для нее наступило с эпохой освобождения, когда на месте Тетюева водворилась Раиса Павловна, и Родион Антоныч обязан был представлять массу докладных записок, отдельных мнений, проектов, соображений и планов.

Вот из этой же чернильницы велись подкопы под Тетюева-сына, когда он, в пику кукарскому заводу-управителю, занял пост председателя земской управы, чтобы донимать заводы разными новыми статьями земских налогов. Да, эта чернильница много испортила крови Авдею Никитичу, а теперь Авдей Никитич всем животы подвел: выписал какого-то генерала Блинова да еще и с «особой»... «И ведь прямо, бестия, этакая, на меня указал, – раздумывал Родион Антоныч. – А то откуда этой шлюхе знать о каком-то Сахарове... Конечно, это Авдей Никитич всю механику подвел. Его работа...»

«И ведь как все вдруг случилось: трах – и всему конец. Уж, кажется, Раиса ли Павловна не крепко сидит на своем месте, и вот нашлась же и на нее гроза». Сахаров крепко задумался. Целую жизнь он прожил в качестве маленького человека за чужой спиной и вдруг почувствовал, как стена, на которую он упирался столько лет, начинает пошатываться и того гляди рухнет да еще и его задавит. А чем он виноват? Он маленький человек и целую жизнь только и знал, что творил волю пославшего. Конечно, крепко солил Тетюеву и не раз ему подставлял ножку, но ведь это он делал не для собственного удовольствия, а потому, что так хотела Раиса Павловна. Ведь Тетюев...

– Зарежет вас с Раисой Павловной этот Тетюев! – шептал какой-то предательский голос.

Как для всех слишком практических людей, для Сахарова его настоящее неопределенное положение было хуже всего: уж лучше бы знать, что все пропало, чем эта проклятая неизвестность. Ну, Тетюев так Тетюев... Чем он хуже Раисы Павловны? Нужно же и ему пожить, не век мыкаться председателем управы. И Тетюев не пропадет, и Раиса Павловна тоже, а вот он, Родион Антоныч, чем виноват, что им стало тесно жить на белом свете! Припоминая свои подходы под Тетюева, Родион Антоныч теперь от чистого сердца скорбел о том, что не принял заблаговременно во внимание переменчивости человеческого счастья... И как было не подумать: вчера Раиса Павловна, сегодня Раиса Павловна, все это хорошо! – вдруг послезавтра Авдей Никитич Тетюев. «Ох, не ладно! – застонал про себя Родион Антоныч. – Сморит он, если крылья отрастут. В батюшку, видно, пошел, хоть и не с того конца. А кто бы мог поду-

мать? И Раиса Павловна тоже говорила: «Тетюев – болтун, Тетюев – недоносок...» Ох, Раиса Павловна, Раиса Павловна!»

Целый день Родиона Антоныча был испорчен: везде и все было неладно, все не так, как раньше. Кофе был пережарен, сливки пригорели; за обедом говядину подали пересушенную, даже сигара, и та сегодня как-то немного воняла, хотя Родион Антоныч постоянно курил сигары по шести рублей сотня.

– Да что ты на всех сегодня кидаешься, точно угорел! – заметила наконец Родиону Антонычу жена, когда он своему любимцу Зарезу дал здорового пинка.

– Я-то не угорел... гм... – опомнился Родион Антоныч, начиная гладить напрасно обиженную собаку. – Вот как бы мы все не угорели, матушка. Тетюев-то...

– Что Тетюев?

– Ах, отстань. Не твоего бабьего ума дело...

Мысль о Тетюеве и генерале Блинове просто давила Родиона Антоныча, и он напрасно бегал от нее по своему расписанному дому. Везде было хорошо, уютно, светло, но от этого Родиону Антонычу делалось еще тяжелее, точно пред ним живьем вставала та темнота, из которой возникало настоящее великолепие и довольство. Да и было от чего застонать: место под дом Родиону Антонычу подарил один подрядчик, которому он устроил деловое свидание с Раисой Павловной. Давно приглядывался к этому местечку Родион Антоныч – ах, хорошее было местечко: с садом у самого пруда! – а тут сам бог и нанес подрядчика; камень и кирпич поставил при случае другой подрядчик, когда пристраивали флигель к господскому дому. И подрядчик не в накладе остался, да и Родион Антоныч даром получил материал; железо на крышу, скобки да гвоздики были припасены еще заранее, когда Родион Антоныч был еще только магазинером, – из остатков и разной заводской «ветхости»; лес на службы и всякое прочее обзаведение привезли сами лесообъездчики тоже ни за грош, потому что Родион Антоныч, несмотря на свою официальную слепоту, постоянно ездил с Майзелем за дупелями. Дом клали из даровых кирпичей, штукатурили, крыли крышей, красили, украшали – все это делалось при случае разными нужными людьми, которые сами после приходили благодарить Родиона Антоныча и величали его в глаза и за глаза благодетелем. А разве кого Родион Антоныч притеснил, обидел? Все сами делали... Еще Родион Антоныч не успел подумать, а нужный человек уж говорит: «Родион Антоныч, вам бы крышку-то малахитцом покрасить... Оно бы в лучшем виде, потому как там течь и всякое прочее!» Глядишь, крыша и выкрашена даром, да ещё нужный же человек и благодарит, что ему позволили испытать такое удовольствие. Все делалось как-то само собой – каждый гвоздь сам собой лез в стену, песочек, глина, известочка и прочая строительная благодать тоже сама собой тащилась с разных сторон к дому, – и вдруг все это начнет расплзаться в разные стороны – тоже само собой. Родион Антоныч живо видел все каверзы и проделки, при которых созидал свое настоящее; он считал их давно похороненными и забытыми, и вдруг какая-нибудь пройдоха примется раскапывать всю подноготную! При одной мысли о такой возможности Родиона Антоныча прошибал холодный пот, хотя в душе он считал себя бессребреником, что выводилось, впрочем, сравнительно: другие-то разве так рвали, да сходило с рук! Хотя бывали примеры и другого рода. Недалеко ходить, взять хоть того же старика Тетюева: уж у него-то был не дом – чаша полная, – а что осталось? – так, пустяки разные: стены да мебелишка сборная. Разве Авдей Никитич поправит... Ох, этот Авдей Никитич! Из каждой щели теперь смотрел на Родиона Антоныча этот страшный призрак, заставляя его вздрагивать.

– Что же, я ограбил кого? украл? – спрашивал он самого себя и нигде не находил обвиняющих ответов. – Если бы украсть – разве я стал бы руки марать о такие пустяки?... Уж украсть так украсть, а то... Ах ты, господи, господи!.. Потом да кровью все наживал, а теперь вот под грозу попал.

Что ни делал Родион Антоныч, он никак не мог успокоиться. Даже в курятнике, куда он зашел по привычке, все было не по-старому: все эти кохинхинки, куропаточные, «галанки», бойцовые сегодня точно сговорились вывести его из терпения. Драка, беспорядок, отчаянное кудахтанье. В этом птичьем гаме Родиону Антонычу все слышались роковые звуки: «Тетюев – Тетюев – Тетюев – Тетюев... Блинов – Блинов – Блинов – Блинов...». Точно в самое ухо забрался какой-то безголовый дьячок и долбит поминанье за поминаньем, как в родительскую субботу. Великолепный брахмапутровый петух, гордость и сладость Родиона Антоныча, выглядел сегодня совсем плохо и только глупо моргал глазами, точно его оглушили. «Уж не окормил ли его кто-нибудь солью?» – подумал Родион Антоныч, но сейчас же спохватился и, махнув рукой, фатально проговорил:

– Все к одному пошло...

Даже ночью, когда Родион Антоныч лежал на одной постели со своей женой, он едва забылся тревожным тяжелым сном, как сейчас же увидел самый глупейший сон, какой только может присниться человеку. Именно, видит Родион Антоныч, что он не Родион Антоныч, а просто... дупель. Как есть, настоящий дупель: нос вытянулся, ноги голенастые, все тело обросло перышками пестренькими. Видит Родион Антоныч, что ходит он по болоту и копает носом вязкую тепловатую тину, и так ему хорошо: в воздухе парит, над ним густая осока колыхается, всякая болотная мошка гудит-гудит... И вдруг, его собственный Зарез шаст в это самое болото и давай нюхать. Да ведь как взялся-то, разбойник! картину с него пиши! Вот ближе, ближе... На след напал, вот уж слышно, как он обнюхивает кочки и бултыхает лапами по воде. Дупель припал за кочку и даже закрыл глаза от страху... Ближе, ближе... Собака остановилась над ним и сделала молодецкую стойку! Родион Антоныч хочет взлететь, но никак не может подняться, открывает со страху глаза и вскрикивает: вместо Зарежа над ним стоит та особа, о которой писал Загнеткин, а в сторонке покатывается со смеху Тетюев.

Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, судорожно крестил свое толстое, заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на бок.

VII

Округ Кукарских заводов занимал собой территорию в пятьсот тысяч десятин, что равнялось целому германскому княжеству или даже маленькому европейскому королевству. На этом громадном пространстве было разбросано семь заводов: Логовой, Исток, Заозерный, Мельковский, Баламутский, Куржак и Кукарский. Центр заводской тяжести распределялся по заводам, конечно, не одинаково. Главным заводом в административном отношении считался Кукарский, раз – потому, что это был самый старый и самый большой завод, во-вторых, потому, что он занимал центральное положение относительно других заводов. За ним, вторым по важности, следовал Баламутский завод. Он занимал лесной, богатый топливом район и поэтому с каждым годом все шире и шире развивал свои операции. Остальные заводы служили дополнениями этих двух, переделывая черновое железо с Баламутского завода в сортовое. Заозерный существовал только благодаря богатому запасу воды, которая служила неистощимой движущей силой, а Куржак вырос около богатого железного рудника.

Кукарский завод являлся, таким образом, во главе всех других заводов, их душой и административным сердцем, от которого радиусами разбегались по другим заводам все предписания, ордера, рапорты и рапортчики. Служить на Кукарском заводе, на виду у начальства, считалось завидной честью, о которой мелкая служительская сошка с других заводов иногда напрасно мечтала целую жизнь. Насколько громадное значение имел Кукарский завод, достаточно сказать только то, что во всех заводах, вместе с селами, деревнями и «половинками», считалось до пятидесяти тысяч рабочего населения. В крепостное время из Кукарского завода особенно много налетало напастей по окрестностям: главный управляющий тогда пользовался неограниченной властью и гнул в бараний рог десятки тысяч безответных людей. Кукарского завода боялись и сами приказчики мелких заводов, потому что это был крепостной, подневольный народ. Случалось нередко так, что приказчики попадали «в гору», то есть в железный рудник, что тогда считалось равносильным каторге. Какой-нибудь Тетюев пользовался княжескими почестями, а насколько сильна была эта выдержка на всех уральских заводах, доказывает одно то, что и теперь при встрече с каждым, одетым «по-городски», старики рабочие почтиительно ломают шапки. Только людям «оборотистым», каким был, например, Родион Антоныч, Кукарский завод был настоящей обетованной землей, где можно было добиться всего.

Сын какого-то лесообъездчика, Родион Антоныч первоначальное свое бытие получил в кукарской заводской конторе в качестве крепостного писца, которому выдавалось жалованья три с полтиной на ассигнации в месяц, то есть на наш счет – всего один рубль. Счастье для Сахарова заключалось в том, что он служил в Кукарском заводе и поймал случай попасть на глаза к самому старику Тетюеву. В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах. Под его железной лапой задохлось много даровитых и умных людей, которые не умели подслуживаться и подличать. А для покладистого Родиона Антоныча такой человек был истинным кладом. Точкой сближения послужило пустое обстоятельство, которое, впрочем, в доброе старое время многих вывело в люди: это обстоятельство – красивый почерк. Нынче уже мало так пишут, что зависит, может быть, оттого, что стальным пером нельзя достичь такого каллиграфического искусства, как гусиным, а может быть, и оттого, что нынче меньше стали ценить один красивый почерк. Одним словом, как-никак, а Сахарова заметили – этого уже было достаточно, чтобы сразу выделиться из приниженной, обезличенной массы крепостных заводских служащих, и Сахаров быстро пошел в гору, то есть из писцов попал прямо в поденные записчики работ, – пост в заводской иерархии довольно видный, особенно для молодого человека.

Но здесь же Сахаров и получил первый жестокий урок за свое излишнее усердие: чтобы выслужиться, он принялся нажимать на рабочих и довел их до того, что в одну темную осеннюю ночь его так поучили, что он пролежал в больнице целый месяц.

– Эх, братец, ты не тово... – весело заметил старик Тетюев, когда выздоровевший Сахаров пришел к нему за приказаниями. – Не везде нужно с маху брать, а ты потихоньку да исподволь тяни...

– Я, Никита Ефремыч, всегда буду исподволь и потихоньку...

– Ну, вот так-то лучше: все люди – все человеки. Мало ли я что вижу, а другой раз и смолчу. Так-то...

Этот урок глубоко запал в душу Родиона Антоныча, так что он к концу крепостного права, по рецепту Тетюева, добился совершенно самостоятельного поста при отправке металлов по реке Межевой. Это было – тепленькое местечко, где рвали крупные куши, но Сахаров не зарывался, а тянул свою линию год за годом, помаленьку обгоняя всех своих товарищей и сверстников.

– Хочешь, я тебя приказчиком сделаю в Мельковском заводе? – говорил ему в веселую минуту старик Тетюев. – Главное – ты хоть и воруеть, да потихоньку. Не так, как другие: назначишь его приказчиком, а он и давай надуваться, как мыльный пузырь. Дуеться-дуеться, глядишь, и лопнул...

Сахаров отказался от такой чести, – раз – потому, что караванное дело по части безгрешных доходов было выгоднее, а второе – потому, что не хотел хоронить себя где-нибудь в Мельковском заводе.

– Ну, тебе лучше знать... – согласился нравный старик, благодушествовавший после горячей бани. – Ты и так не пропадешь.

– Я по письменной части больше, Никита Ефремыч...

– Вот и вышел дурак: хочешь околеть с голоду с своей письменной частью! Убирайся с глаз долой!..

Когда Родион Антоныч считал себя совсем на линии, освобождение крестьян чуть не размыло его благополучия вплоть до самого основания.

Погром пошел сверху донизу. Крепостные порядки кончились, и на их место пошли новые. Даровой крепостной труд нужно было заменить трудом наемным, оставляя цифру владельческих доходов нетронутой. Старик Тетюев был совсем негоден для выполнения такой сложной задачи и прочил передать свое место сыну Авдею. Но случилось не так: сам Тетюев неожиданно получил чистую отставку, хотя и с приличным пенсионом, а на его место, по протекции всесильного Прейна, был назначен Горемыкин. Рассказывали интересный анекдот о том, как выжили Тетюева с места. Отказать заслуженному старику прямо не решались, нужно было подыскать предлог. Специально за этим на заводы выехал Прейн и прожил целое лето, напрасно выжидая, что старый Тетюев догадается и сам подаст в отставку. Может быть, Прейн так и уехал бы в Петербург с пустыми руками, а Тетюев остался бы опять царствовать на заводах, но нашелся маленький служащий, который научил, что нужно было сделать. Именно, Прейн назначил внезапную ревизию заводууправления и послал за Тетюевым как раз в тот момент, когда старик только что сел обедать – самое священное время тетюевского дня. Тетюева взорвало, он наотрез отказался идти в контору и тут же, не выходя из-за стола, подал в отставку. Гордый старик не перенес такого удара и прожил в отставке всего несколько месяцев: его хватил кондрашка. За Тетюевым полетели с своих мест все другие приказчики, за исключением двух-трех, которые удержались на своих местах каким-то чудом. Родион Антоныч тоже потерял свое место и некоторое время находился совсем не у дел. Реформы, как все реформы, начались с сокращений и урезок: сократили количество служащих, урезали всем жалованье, прибавили работы и т. д. Впрочем, сам Горемыкин в этом случае не был виноват ни душой, ни телом: всем делом верховодила Раиса Павловна, предоставившая мужу специально

заводскую часть. Вместо старых крепостных приказчиков везде были посажены управителями люди, получившие специальное образование, потому что Горемыкин хотел пополнить все ущербы, понесенные отменой крепостного права, расширением заводской производительности. Как специалист-техник и честный человек, он был незаменим. Но в практическом отношении ему недоставало многих качеств. Так, он не очень умел выбирать людей и часто попадал под влияние очень сомнительных личностей.

– Что же, это очень естественно, что я в каждом прежде всего стараюсь видеть честного человека, – оправдывался иногда Горемыкин.

– Очень убедительно для всех, кто привык, чтобы его везде водили за нос, – замечала Раиса Павловна с своей стороны.

Чтобы пробить себе дорогу при новом порядке вещей, Сахаров поступил сначала в счетное отделение, которое славилось тем, что здесь служащие, заваленные письменной работой, гибли, как мухи. Конечно, Сахаров мечтал не о такой письменной части и очень скоро попал на настоящую дорогу. Нужно было составлять уставную грамоту, которая для заводов являлась вопросом самой капитальной важности. В это смутное время еще не выяснилось хорошенько, где будут самые больные места совершавшегося акта. Неразрывные до тех пор интересы заводладельца и мастеровых теперь раскалывались на две неровных половины, причем нужно было вперед угадать, как и где встретятся взаимные интересы, что необходимо обеспечить за собой и чем, ничего не теряя, поступиться в пользу мастеровых. Для решения массы возникших недоразумений и вопросов были устроены еженедельные съезды новых управителей, которые и выработали после усиленных хлопот проект уставной грамоты. Вот этот-то проект и дал случай Родиону Антонычу после разгрома крепостного права не только вынырнуть из неизвестности, но встать на такую высоту, с которой его уже трудно было столкнуть. Прочитавши проект уставной грамоты, выработанный управительскими съездами, он по поводу его составил собственную докладную записку, в которой очень подробно и основательно разобрал все недостатки выработанного проекта. К докладной записке был приложен собственный проект Родиона Антоныча. Вся эта «история» при помощи хорошего человека была партикулярным путем передана в руки самой Раисы Павловны.

Когда эта умная женщина, достаточно умудренная в изворотах и петлях внутренней политики, прочла докладную записку Родиона Антоныча, то пришла положительно в восторженное состояние, хотя такие душевные движения совсем были не в ее натуре.

– Это Мазарини... Нет, Ришелье!.. – воскликнула она несколько раз, перечитывая записку Родиона Антоныча. – Так все предусмотреть и предугадать, – нет, это положительно Ришелье... И какая дьявольски тонкая работа, какая проницательность!..

Первым делом Раисы Павловны было, конечно, сейчас же увидеть заводского Ришелье, о котором, как о большинстве мелких служащих, она до сих пор ничего не знала. Непрезентабельный вид Родиона Антоныча и особенно его рабья манера держать себя несколько поохладили восторги Раисы Павловны. Ее аристократическую выдержку сильно шокировали стоны и вздохи вновь явленного Ришелье, который морщился и стонал, как раздавленный. Жирная физиономия и заискивающе-покорные взгляды Родиона Антоныча тоже были не в его пользу, но Раиса Павловна была, как многие умные женщины, немного упряма и не желала разочароваться в своей находке. Она взяла Ришелье таким, каким он явился к ней на выручку в критический момент. В этом случае она поддалась чисто женской слабости, хотя сама же первая смеялась над ней в других людях.

– Как это вы до сих пор пропадали в неизвестности с такой головой? – откровенно удивлялась Раиса Павловна прямо в глаза Родиону Антонычу.

– Темное время было, сударыня-с...

– Зачем вы говорите: «сударыня-с»... Зовите меня по имени.

– Буду стараться, Раиса Павловна-с.

Это «с» немного покорило Раису Павловну, но с такой маленькой частичкой можно было и помириться.

– При Никите Ефремыче трудно было, суд... Раиса Павловна, особенно, ежели кто был расположен к письменной части. Они самую эту письменную часть, можно сказать, совсем ни во что ставили...

– Да... Но теперь другое время... Извините, все забываю: как вас зовут?

– Родион Антонов.

– Ах, да, Родион Антоныч... Что я хотела сказать? Да, да... Теперь другое время, и вы пригодитесь заводам. У вас есть эта, как вам сказать, ну, общая идея там, что ли... Дело не в названии. Вы взглянули на дело широко, а это-то нам и дорого: и практика и теория смотрят на вещи слишком узко, а у вас счастливая голова...

Умиленный этими похвалами, Родион Антоныч даже пощупал свою «счастливую» голову, которая до сих пор шла за самую обыкновенную.

– А так как вы питаете такое пристрастие к письменной части, то вам и книги в руки: мужу необходим домашний секретарь – вот вам на первый раз самое подходящее место. А вперед увидим...

Составленный Родионом Антонычем проект уставной грамоты действительно был *chef-d'oeuvre*⁴ в своем роде. Он обеспечил за Кукарскими заводами такие преимущества, которые головой выдавали десятки тысяч заводского населения в руки заводовладельца. Даже сомнительные статьи, которые, кажется, трудно было обойти, были так неясно отредактированы и опутаны такими хитросплетенными условиями, что можно было только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. Во-первых, по этой уставной грамоте совсем не было указано сельских работников, которым землевладелец обязан был выделить крестьянский надел, так что в мастерские попали все крестьяне тех деревень, какие находились в округе Кукарских заводов. Затем, все мастерские, по новой грамоте, пользовались выгоном, покосами, рощистями и лесом «на прежних основаниях», пока заводовладелец не изменит их по собственному усмотрению и пока мастерские работают на его заводах. В виде особенной милости заводовладельца мастерские получили от него *в дар* свои дома и усадьбы. Оговорено было даже то, что содержание церквей, школ и больниц остается на том же усмотрении заводовладельца, который волен все это в одно прекрасное утро «прекратить», то есть лишить материального обеспечения. Но центр тяжести всей уставной грамоты заключался в том, что уставная грамота касалась только мастерских и давала им известные условные гарантии только на том условии, если они будут работать на заводах. Все остальное население, которое не принимало непосредственного участия в заводской работе, совсем не шло в счет. Так что в результате на стороне заводовладельца оставались все выгоды, даже был оговорен оброк за пользование покосами и выгонами с тех мастерских, которые почему-либо не находятся на заводской работе. Помещикам, наградившим своих бывших крепостных кошачьими даровыми наделами, во сне никогда не снилось ничего подобного, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что Лаптев был даже не заводовладелец в юридическом смысле, а только «пользовался» своими полумиллионами десятин богатейшей в свете земли на посессионном праве. Благодаря проекту Родиона Антоныча кукарское заводууправление брало не только со всех посторонних, но даже со своих собственных мастерских за пользование *казенной* землей в свою выгоду очень почтительный оброк – пятьдесят копеек и дороже за каждую десятину. Спорный юридический вопрос о правах посессионных владельцев *на недра земли*, в случае нахождения в них минеральных соков, тоже был выговорен уставной грамотой в пользу заводовладельца, так что мастерские не могли быть уверены, что у них не отберут для заводских целей даже те усадебные клочки, которые им принадлежат по закону, но которые, по про-

⁴ Шедевром (*фр.*).

екту уставной грамоты Родиона Антоныча, великодушно были подарены им заводовладельцем. Словом, в юридическом отношении проект Родиона Антоныча составлял выдающееся явление.

Раиса Павловна со своей стороны осыпала всевозможными милостями своего любимца, который сделался ее всегдашним советником и самым верным рабом. Она всегда гордилась им как своим произведением; ее самолюбию льстила мысль, что именно она создала этот самородок и вывела его на свет из тьмы неизвестности. В этом случае Раиса Павловна обольщала себя аналогией с другими великими людьми, прославившимися умением угадывать талантливых исполнителей своих планов.

Родион Антоныч, конечно, быстро освоился в своей новой обстановке и быстро забрал в свои руки все кругом. Погром, произведенный 19 февраля, оставил в его душе неизгладимый горький след, который заставлял его постоянно морщиться и стонать. Он так сросся душой и телом с крепостными порядками, что не мог помириться ни с чем новым, даже ради той сторицы, какую теперь получил. Его постоянно сосал какой-то червь, который не давал покоя. Неисправимый крепостник в душе, Родион Антоныч давил и гнул все новые порядки и всех новых людей, насколько хватало сил. Это был своего рода крепостной фанатизм, и в этом отношении у Родиона Антоныча была родственная черта с замашками великих французских кардиналов, хотя, конечно, это были величины несоизмеримые. Достаточно сказать, что ни одного дела по заводам не миновало рук Родиона Антоныча, и все обращались к нему, как к сказочному волшебнику. Его влияние отражалось на всех сферах заводской жизни и деятельности.

Но интереснее всего было то, как расправлялся Родион Антоныч с теми, кто ему не поддавался. Первым таким делом было то, что несколько обществ, в том числе и Кукарское, не захотели принять составленной им уставной грамоты, несмотря ни на какие увещания, внушения и даже угрозы. Глупые мужики уперлись и стояли на своем. Отыскались неизвестные законники, которые сумели растолковать им, какой паутиной опутывала их уставная грамота. Мировой посредник, становые, исправник выбивались из сил, стараясь привести стороны к соглашению: мужичье стояло на своем. Тогда взялся за эту распрю Родион Антоныч и покончил ее в несколько дней: подыскал несколько подходящих старичков, усовестил их, наобещал золотые горы, и те подмахнули за все общество. Этого было достаточно на первый раз, а там пусть дело гуляет по судам да палатам. Как упрямые мужики ни артачились, как ни хлопотали, дело оставалось в том положении, в какое его поставил Родион Антоныч, а сельские общества только несли убытки от своих хлопот да терпели всяческое утеснение на заводской работе.

– Еще бабушка-то надвое сказала, – говорил Родион Антоныч жалившимся общественникам. – Вы бы мирком да ладком лучше старались...

В этом случае он хотел показать заводскому населению, обрадовавшемуся «воле», что крепостное право для него еще не миновало. Ему доставляло громадное наслаждение давить этих свободных мастеровых на всех пунктах, особенно там, где специально заводские интересы соприкасались с интересами населения.

Другим подвигом, прославившим имя Родиона Антоныча, была его упорная борьба с Ельниковским земством, другими словами – с Авдеем Никитичем Тетюевым. Но здесь Родиону Антонычу пришлось некоторым образом идти даже против самого себя, потому что перед самой фамилией Тетюевых, по старой привычке, он чувствовал благоговейный ужас и даже полагал некоторое время, что Авдей Никитич в качестве нового человека непременно займет батюшкино местечко. Но вышло не так, – одолела Раиса Павловна, и ему пришлось идти против заветного имени. Но в этом случае Родион Антоныч утешал себя тем, что начал поход против Тетюева не по собственной инициативе, а только творил волю пославшего. Борьба между земством, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой, велась не на живот, а на смерть. Оно и понятно... Как! когда заводы на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством государства, которое поддерживало их постоянными субсидиями,

гарантиями и высокими тарифами; когда заводчикам задаром были отданы миллионы десятин на Урале с лесами, водами и всякими минеральными сокровищами, только насаждай отечественную горную промышленность; когда на Урале во имя тех же интересов горных заводов не могли существовать никакие огнедействующие заведения, и уральское железо должно совершать прогулку во внутреннюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться в краску, отправляясь в Англию, – когда все это творилось, конечно, притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того ни с сего принялось обкладывать заводы налогами, эти притязания просто были смешны. Но Тетюев не дремал, и в первый же год существования земства Кукарские заводы были обложены пятьюдесятью тысячами налога.

– Родион Антоныч, я ничего не пожалею, чтобы сломить Тетюева! – заявила Раиса Павловна. – Это бессовестно: пятьдесят тысяч... Раньше заводы не несли никаких налогов и пользовались даровым трудом крепостных, а теперь и то и другое.

– Можно будет постараться, Раиса Павловна. Только мы будем подводить свою линию под Авдея Никитича исподволь да потихоньку... Дело-то вернее будет!..

– Как хотите, так и делайте... Если хлопоты будут стоить столько же, сколько теперь приходится налогов, то заводам лучше же платить за хлопоты, чем этому земству! Вы понимаете меня?

Политика Родиона Антоныча приводилась в действие, и результаты не замедлили себя показать: сначала были изъяты из обложения земскими налогами золотые промыслы, потом железный рудник, фабрики и т. д. Ходатайства, докладные записки и прошения! дождем сыпались в Петербург, где разные нужные человечки умели вовремя их представить куда следует. Каша заварилась вкрутую, и политика Родиона Антоныча много испортила крови Тетюеву. Например, гора Куржак, целиком состоявшая из магнитного железняка и по приблизительным вычислениям заключающая в себе до тридцати миллиардов богатейшей в свете железной руды, приносила земству всего-навсего два рубля семнадцать копеек дохода, как любая усадьба какого-нибудь мастерового. Тетюев рвал на себе волосы, когда заходила речь о Куржаке, но поделаться с последовательной политикой Родиона Антоныча ничего не мог. Когда все законные способы ограничения земской дерзости были исчерпаны, Родион Антоныч вкуче с Раисой Павловной решились нанести этому ненавистному учреждению самый роковой удар его же собственным оружием: неисповедимыми путями в Ельниковское земское собрание большинство гласных были избраны заводские приспешники и клеветы управителя, поверенные, разная мелкая служащая сошка и, наконец, сам Родион Антоныч, который сразу организовал большинство голосов в свою пользу. Сам губернатор был на стороне Родиона Антоныча и назначал председателями земских собраний тех лиц, на которых указывало кукарское заводоуправление. Таким образом, с каждым годом, по мере того как возрастала земская сумма налогов, Кукарские заводы платили меньше и меньше, слагая свою долю на крестьянское население. Тетюев был совсем прижат к стене, и, казалось, ему ничего не оставалось, как только покориться и перейти на сторону заводов, но он воспользовался политикой своих противников и перешел из осадного положения в наступающее. Поездка Лаптева в сопровождении генерала Блинова служила самым блестящим ответом с его стороны Родиону Антонычу и Раисе Павловне за всю их политику против него. Стороны теперь встали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и самый решительный удар.

Усложняющим обстоятельством в этой крупной игре являлись интриги и происки Майзеля с другими управителями, которые, как это свойственно человеческой природе, желали сами занять место повыше. Но Родион Антоныч относился к этим случайным людям с достойным презрением. Что они такое были сами по себе? Мыльные пузыри, не больше. Всплывет, покружится, поиграет и рассыплется радужной пылью... Этим людям везде скатертью дорога; где больше дадут – там они и покорные слуги. Это уж совсем не то, что Раиса Павловна, Авдей

Никитич или сам Родион Антоныч. Для них троих заводы составляли все, они к ним приросли, вне их ничего не желали знать. Тот же Авдей Никитич, легко сказать, тянет второе трехлетие председателем управы и глазом не моргнет. Все крепкий, хватистый народ, хотя и не без недостатков. Родион Антоныч, например, когда строил свой дом, то прежде чем перейти в него, съездил за триста верст за двумя черными тараканами, без которых, как известно, богатство в доме не будет держаться. Он же лечился хрусталем, когда у него болели глаза. Доктор Кормилицын пришел в ужас, когда узнал рецепт этого хрустального лечения. Именно: Родион Антоныч взял толстый хрустальный стакан, истолок его в порошок и это толченое стекло выпил преблагополучным образом. Раиса Павловна верила в сны и разные другие приметы, а Тетюев занимался спиритизмом.

VIII

Мы уже видели, как Родион Антоныч принял известие о приезде Лаптева на заводы. Он был трус по натуре и, как всякий трус, после первого припадка отчаяния деятельно принялся отыскивать путь к спасению. Прежде всего в нем поколебалась вера в Раису Павловну, которая не сегодня завтра слетит с своей высоты. Раиса Павловна с свойственной ей проникательностью давно изучила заячью душу своего Ришелье и сейчас же угадала истинный ход его мыслей. Это обстоятельство ее не особенно огорчило, потому что она бывала и не в таких переделках и выходила суха из воды. Как все великие психологи-практики, она умела больше всего воспользоваться дурными сторонами и слабостями других людей в свою пользу. Так и теперь она решилась воспользоваться страхом Родиона Антоныча перед Тетюевым.

В господском доме шел ужаснейший переполох по случаю приезда барина, который не бывал на заводах с раннего детства. Для его приема готовили главный корпус господского дома, где на скорую руку переклеивали обои, сбивали мебель, ложили полы, подкрашивали и замазывали каждую щель. Прейн был не особенно прихотливый человек и довольствовался всего двумя комнатами, которые сообщались с половиной Раисы Павловны и с кабинетом самого владельца. Для такого важного гостя, как сам заводовладелец, нужно было устроить княжеский прием. Не хватило тысячи самых необходимых вещей, которых в Кукарском заводе и в уездном городишке Ельникове не достанешь ни за какую цену, а выписывать из столицы было некогда.

– Как же мы будем? – спрашивал Родион Антоныч.

– А Прейн? – отвечала удивленная Раиса Павловна, – Ах, как вы просты, чтобы не сказать больше... Неужели вы думаете, что Прейн привезет Лаптева в пустые комнаты? Будьте уверены, что все предусмотрено и устроено, а нам нужно позаботиться только о том, что будет зависеть от нас. Во-первых, скажите Майзелю относительно охоты... Это главное. Думаете, Лаптев будет заниматься здесь нашими делами? Ха-ха... Да он умрет со скуки на третьи сутки.

– А Блинов?

– Ну, это еще бабушка надвое сказала: страшен сон, да милостив бог. Тетюев, кажется, слишком много надеется на этого генерала Блинова, а вот посмотрите... Ну, да сами увидите, что будет.

– Увидим, все увидим, – уныло соглашался Родион Антоныч, терявший последние признаки своей бодрости при одном имени барина.

– Да вы не трусьте; посмотрите на меня, ведь я же не трушу, хотя могла бы трусить больше вашего, потому что, во-первых, главным образом все направлено против меня, а во-вторых, в худом случае я потеряю больше вашего.

Родион Антоныч щупал свою голову, вздыхал и даже тряс ушами, как понюхавшая дыму собака.

– Я давно хочу вам сказать, Раиса Павловна, одну вещь... – нерешительно заговорил Сахаров. – Нельзя ли будет войти в какое-нибудь соглашение-с...

– С Тетюевым? Никогда!.. Слышите, никогда!.. Да и поздно немного... Мы ему слишком много насолили, чтобы теперь входить в соглашения. Да и я не желаю ничего подобного: пусть будет что будет.

Стороны взаимно наблюдали друг друга, и Родиона Антоныча повергло в немалое смущение то обстоятельство, что Раиса Павловна, даже ввиду таких критических обстоятельств, решительно ничего не делает, а проводит все время с Лушей, которую баловала и за которой ухаживала с необыкновенным приливом нежности. К довершению всех бед черные тараканы поползли из дома Родиона Антоныча, точно эта тварь предчувствовала надвигающуюся грозу.

Действительно, Раиса Павловна, кажется, совсем не желала видеть, что делается кругом, как торопливо белили заводские здания, поправляли заборы, исправляли улицы, отовсюду уби-

рали щепы и мусор. Особенное внимание было обращено на фабрики, где внутренний двор теперь был усыпан песком и каждая машина, при помощи песка и разных порошков, чистилась и охорашивалась, точно невеста под венец. Облупившаяся штукатурка, отставшие доски, проржавевшее железо – все одинаково подвергалось поправкам. Заводский надзиратель, плотинный, уставщики – все лезли из кожи, чтобы привести фабрику в настоящий форменный вид. Доменные печи были выкрашены заново розовой краской, механический корпус – бледно-сиреневой, катальная фабрика – желтой и т. д. Пробоины в крышах и стенах заделывались, выбитые стекла вставлялись, покосившиеся Двери навешивались прямо, даже пудлинговые, отражательные, сварочные и многие иные печи не избегали общей участи и были густо намазаны каким-то черным блестящим составом.

Платон Васильевич почти не выходил из фабрики, ставилось громадное маховое колесо для сортовой катальной. Раньше в Кукарском заводе готовили только болванку, которая переделывалась в мелкое сортовое железо уже на других заводах. Мельковский славился своим листокатальным производством, Заозерный – полосовым и проволокой, Баламутский – рельсами и т. д. Горемыкин задался целью расширить производительность заводов в качественном отношении, чтобы не тратить напрасно денег на перевозку металлов с завода на завод. Другая стальная болванка, из каких делают рельсы, прогуливалась из Кукарского завода в Баламутский и обратно раз до шести, что напрасно только увеличивало стоимость готовых рельсов и набивало карманы разных подрядчиков, уделявших, конечно, малую толику кое-кому из влиятельных служащих. Разные безгрешные доходы процветали в полной силе, и к ним все так привыкли, что общим правилом было то, чтобы всяк сверчок знал свой шесток и чтобы сору из избы не выносил. Горемыкин, несмотря на свои физические немощи и плохое зрение, всегда сам наблюдал за производившимися работами, а теперь в особенности, потому что дело было спешное. Он ходил домой только есть, а все остальное время проводил на фабрике. В этом царстве огня и железа Горемыкин чувствовал себя больше дома, чем в своей квартире в господском доме. Для него было наслаждением по целым часам наблюдать торопливую фабричную работу, которая кипела кругом. Это была настоящая работа гномов, где покрытые сажей человеческие фигуры вырывались из темноты при неровно вспыхивавшем пламени в горнах печей, как привидения, и сейчас же исчезали в темноте, которая после каждой волны света казалась чернее предыдущей, пока глаз не осваивался с нею. Старик на время забывал о своих недостатках: при ослепительном блеске добела раскаленного железа он отчетливо различал подробности совершавшейся работы и лица всех рабочих; при грохоте вертевшихся колес и стучавших чугуновых валов говорить можно было, только напрягая все свои голосовые средства, и Горемыкин слышал каждое слово. Когда он выходил из фабрики на свежий воздух, предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные, расплывавшиеся очертания – обыкновенный дневной свет был слаб для его глаз. Точно так же и ухо не могло уловить обыкновенного разговора, и он делал какое-то сосредоточенно-глупое лицо, стараясь не выдавать своей глухоты. Вообще Горемыкин жил полной, осмысленной жизнью только на фабрике, где чувствовал себя, как и все другие люди, но за стенами этой фабрики он сейчас же превращался в слепого и глухого старика, который сам тяготился своим существованием. За минуту одушевленное лицо, точно омытое волной свежих впечатлений, быстро теряло свой жизненный колорит и получало вопросительно-недоумевающее выражение.

Кроме своего заводского дела, во всех других отношениях Горемыкин был чистейшим ребенком. Его душа слишком крепко срослась с этими колесами, валами, эксцентриками и шестернями, которые совершали работу нашего железного века; из-за них он не замечал живых людей, вернее, эти живые люди являлись в его глазах только печальной необходимостью, без которой, к сожалению, самые лучшие машины не могут обойтись. Старик мечтал о том, как шаг за шагом, вместе с расширением производства, живая человеческая сила малопомалу заменяется мертвой машинной работой и тем самым устраняются тысячи тех жгучих

вопросов, какие создаются развивающейся крупной промышленностью. С этой именно точки зрения он и смотрел на все те общественные и экономические вопросы, которые создавались жизнью специально заводского населения. В них он видел только механическое препятствие, вроде того, какое происходит от трения колеса о собственную ось. В будущем, вместе с развитием промышленности и усовершенствованием техники, они падут до своего естественного минимума. Это была слишком своеобразная логика, но Горемыкин вполне довольствовался ею и смотрел на работу Родиона Антоныча глазами постороннего человека: его дело – на фабрике; больше этого он ничего не хотел знать. Машины, машины и машины, – чем больше машин, тем меньше живых рабочих, которые только тормозят величественное движение промышленности. Горемыкин проводил у семейного очага очень немного времени, но и оно не было свободно от заводских забот; он точно уносил в своей голове частицу этого двигавшегося, вертевшегося, пилившего и визжавшего железа, которое разрасталось в громадное грохотавшее чудовище нового времени. Перед этим чудовищем все отступало на задний план, действительность представлялась в самом миниатюрном масштабе, а действующие лица походили на пигмеев. Железный братец Антей каждым своим движением давил кого-нибудь из пигмеев и даже не был виноват, потому что пигмеи сами лезли ему под ноги на каждом шагу.

– Я уверен, – говорил Горемыкин жене, – что Евгению Константинычу стоит только взглянуть на наши заводы, и все Тетюевы будут бессильны.

– Ты думаешь? Ха-ха... Да Евгений Константиныч и не заглянет к вам на фабрики. Очень ему нужно глотать заводскую пыль...

– А вот увидишь.

Раисе Павловне ничего не оставалось, как только презрительно пожать своими полными плечами и еще раз пожалеть о том обстоятельстве, что роковая судьба связала ее жизнь с жизнью этого идиота. Что такое этот Платон Васильич, если его разобрать? Сумасброд, ничтожность. Своим настоящим выдающимся положением он обязан ей – и только ей одной. Она создала его точно так же, как создала Родиона Антоныча и как теперь создавала Лушу. И ей же приходится испытать всю чашу предстоящих испытаний исключительно из-за мужа... Ну как она покажет его Евгению Константинычу, с его глухотой и слепыми глазами? Предстоявший позор вперед заливал краской ее обрюзгшие, полные щеки. Мерзавец Тетюев хорошо рассчитал удар: если он ничего и не выиграет, то чего будет стоить Раисе Павловне эта новая победа над Тетюевым. У ней просто начинала кружиться голова от одолевавших ее планов, и она невольно припоминала ту лису, которая с своей тысячью думушек попала к старухе на воротник.

Первые неприятности уже дали себя почувствовать Раисе Павловне.

В господском доме были заведены Раисой Павловной официальные завтраки по воскресеньям. На этих завтраках фигурировал прежде всего заводской beau monde⁵, который Раиса Павловна держала в ежовых рукавицах, а затем разный заезжий празднующийся люд – горные инженеры, техники, приезжавшие на сессию члены судебного ведомства, светила юридического мира, занесенные неблагоприятной фортуной артисты, случайные корреспонденты и т. д. Здесь Раиса Павловна являлась настоящей царицей: недаром Тетюев называл господский дом «малым двором», в отличие от «большого двора», группировавшегося около самого Лаптева. Люди солидные расточали любезности ее увядшим прелестям, люди средних лет удивлялись уму и великосветским непринужденным манерам, молодежь – ее ласковому приему, отдававшему веселой пикантной ноткой. Вообще все приезжие оставались необыкновенно довольны этими завтраками и следовавшими за ними обедами, слава о которых попадала даже в столичную прессу, благодаря услужливости разных литературных прощелыг. Раиса Павловна умела принять и важное сановное лицо, проезжавшее куда-нибудь в Сибирь, и какого-нибудь члена археологического общества, отыскивавшего по Уралу следы пещерного человека, и всплыв-

⁵ Высший свет (*фр.*).

шего на поверхность миллионера, обнюхивавшего подходящее местечко на Урале, и какое-нибудь сильное чиновное лицо, выкинутое на поверхность безличного чиновного моря одной из тех таинственных пертурбаций, какие время от времени потрясают мирный сон разных казенных сфер, – никто, одним словом, не миновал ловких рук Раисы Павловны, и всякий уезжал из господского дома с неизменной мыслью в голове, что эта Раиса Павловна удивительно умная женщина. Старичок сановник, сладко закрывая глаза, несколько раз рассказывал себе пикантный анекдот, которым его угостила Раиса Павловна; археолог бережно завертывал в бумагу каменный топор, который Раиса Павловна пожертвовала ему из своей коллекции; миллионер испытывал зуд во всем теле от комплиментов Раисы Павловны; сильное чиновное лицо долго нюхало воздух, насквозь прокуренный Раисой Павловной самым великосветским фимиамом. Когда никого не было из чужих, воскресные завтраки принимали более интимный характер, и Раиса Павловна держала себя, как мать большой семьи. Весь зависевший от главного управляющего люд съезжался на эти завтраки с благоговейным трепетом: здесь постоянно разыгрывались те бескровные драмы, какими полна жизнь, и кипели вечные интриги. Раиса Павловна любила развлекаться этой бурой в стакане воды, где все подкапывались друг под друга, злословили и даже нередко доходили в азарте до рукопашной.

Чтобы дополнить картину этих семейных завтраков, нам остается сказать два слова о *demoiselles de compagnie*⁶, которые вечно ютились под гостеприимной кровлей кукарского господского дома. Раиса Павловна, как многие другие женщины, совсем не создана была для семейной жизни, но она все-таки была женщина и в качестве таковой питала непреодолимую слабость окружать себя какими-нибудь компаньонками, недостатка в которых никогда не было. Эти компаньонки, набранные со всех четырех сторон, в глухие сезоны развлекали свою патронессу взаимными ссорами, сплетнями и болтовней, во время приездов служили танцевальным материалом и составляли *par-tie de plaisir*⁷ для молодых людей и молодившихся старичков; но главная их служба заключалась в том, чтобы своим присутствием оживлять воскресные завтраки, занимать гостей. В настоящее время штат этих приживалок состоял всего из трех экземпляров: институтка Эмма, лимфатическая полная особа немецкого происхождения, какая-то безымянная дворяночка Аннинька, веселое и беспечное создание, и истерическая, некрасивая девица Прасковья Семеновна. Штат этих приживалок очень часто обновлялся. Раньше жила француженка *м-ле Louise*⁸, до нее – красавица Лукина. Судьба этих приживалок была самая странная: они исчезали неизвестно куда, как и появлялись. Никто не замечал таких исчезновений, а сама Раиса Павловна не любила об этом рассказывать. Злые языки говорили, что такие обновления состава приживалок совпадали с приездами Прейна, который, как все старые холостяки, очень любил женское общество.

Из настоящего состава приживалок всего интереснее была судьба Прасковьи Семеновны. Она принадлежала к числу «заграничных», какие еще встречаются кое-где на заводах. Происхождение этого названия относится к первой четверти настоящего столетия, когда уральскими заводчиками овладела мания посылать молодых людей из своих крепостных за границу для получения специального образования по горной части. Из Кукарских заводов было послано двенадцать человек, выбранных из самых способных школьников при заводских училищах. Эти школьники прожили за границей лет десять, получая большое содержание. Они совсем освоились на новой почве и почти все переженились на иностранках. Вдруг их всех требуют в Россию, на заводы. Молодые парочки едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные Лаптева, следовательно, попали в крепостные и их жены, все эти немки и француженки, а затем они из-под европейских порядков перешли прямо в железные лапы Никиты Тетюева,

⁶ Компаньонках (*фр.*).

⁷ Здесь в смысле – развлечение (*фр.*).

⁸ Мадмуазель Луиза (*фр.*).

который возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. Положение «заграничных» в Кукарских заводах было самое трагическое, тем более что переход от европейских свободных порядков к родному крепостному режиму ничем не был сглажен. Тетюев с своей стороны особенно налег на молодых людей, чтобы сразу выбить из них всю европейскую и ученую дурь. Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по самым ничтожным должностям, на копеечное жалованье, без всякого выхода впереди. Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники – машинистов, минералоги – в лесном отделении, металлурги – при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д. Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажен, должны были копать медную руду. Эту каторжную работу не могли выносить самые привычные и сильные рабочие, а заграничные в своих европейских обносах были просто жалки, и их спускали в гору на верную смерть. Но Тетюев был неумолим. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до последней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспитывать голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия. Но и в самые черные дни своего существования они не могли расстаться с своим европейским костюмом, с теми модами, какие существовали в дни их юности... Трагедия переходила в комедию. Эта страшная кара перешла и на детей заграничных, которые явились на свет с тяжелыми хроническими болезнями и медленно вымирали от разных нервных страданий, запоя и чахотки. Прасковья Семеновна, дочь кассельской немки, с раннего детства осталась круглой сиротой и была счастлива, по крайней мере, тем, что не видела позора матери. Она с пяти лет страдала истерическими припадками и в качестве блажененькой проживала по богатым купеческим домам. В разгар своей борьбы с Тетюевым Раиса Павловна обратила на нее свое внимание, взяла ее к себе в дом и принялась воспитывать. Это доброе дело нехорошо было только тем, что оно делалось с специальной целью насолить Тетюеву: пусть он, проповедник гуманных начал и земского обновления, полюбуется, в лице Прасковьи Семеновны, тятенькиными поступками... Прасковья Семеновна с годами приобретала разные смешные странности, которые вели ее к тихому помешательству; в господском доме она служила общим посмешищем и проводила все свое время в том, что по целым дням смотрела в окно, точно поджидая возвращения дорогих, давно погибших людей.

Итак, в господском доме совершался семейный завтрак. Посторонних никого не случилось, а сидел все свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, жена Майзеля, разбитная немка aus Riga⁹, Амалия Карловна, управитель Баламутского завода Демид Львович Вершинин, Мельковского – отставной артиллерийский офицер Сарматов, Куржака – чахоточный хохол Буйко, Заозерного – вечно общипывавшийся и охорашивавшийся полячок Дымцевич. В общей трапезе принимали участие старичок механик Шубин и молодой человек, служивший по лесной части, Иван Иванович Половинкин или просто m-г Половинкин. Эта компания в своем составе представляла очень пеструю картину. Сарматов славился как отчаянный враль и самый

⁹ Из Риги (нем.).

бессовестный интриган; Буйко – своей бесцветностью; Дымцевич – глупостью. Самым видным лицом являлся Вершинин, всегда спокойный и неизменно остроумный, незаменимый собеседник за столом и величайший в свете артист устраивать официальные и полуофициальные обеды. На этом последнем поприще Вершинин был в своем роде единственный человек: никто лучше его не мог поддержать беглого, остроумного разговора в самом смешанном обществе; у него всегда наготове имелся свеженький анекдот, ядовитая шуточка, остроумный каламбур. Сказать спич, отделать тут же за столом своего ближнего на все корки, посмеяться между строк над кем-нибудь – на все это Вершинин был великий мастер, так что сама Раиса Павловна считала его очень умным человеком и сильно побаивалась его острого языка. В трудных случаях, когда нужно было принять какую-нибудь важную особу, вроде губернатора или даже министра, Вершинин являлся для Раисы Павловны кладом, хотя она не верила ему ни в одном слове. Среди этой заводской аристократии и козырных тузов м-г Половинкин являлся в роли *parvenu*¹⁰, которому Раиса Павловна очень покровительствовала, задавшись целью женить его на Анниньке. Такие двусмысленные личности встречаются в каждом обществе, и им достается самая жалкая роль. Злые языки в м-г Половинкине видели просто фаворита Раисы Павловны, которой нравилось его румяное лицо с глупыми черными глазами, но мы такую догадку оставим на их совести, потому что на завтраках в господском доме всегда фигурировал какой-нибудь молодой человек в роли *parvenu*. Покровительствовать молодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы Павловны, которая вообще любила устраивать чужое счастье. Механик Шубин замечателен был тем, что про него решительно ничего нельзя было сказать – ни худого, ни доброго, а так, черт его разберет, что за человек. Такие люди иногда встречаются: живут, служат, работают, женятся, умирают, от их присутствия остается такое же смутное впечатление, как от пробежавшей мимо собаки.

Приживалки, конечно, были все налицо. Прасковья Семеновна смотрела в окно, Аннинька шепталась и хихикала с м-г Половинкиным, который глупо и самодовольно улыбался, покручивая выхолненные усики. М-ше Эмма стойчески выдерживала атаку с двух сторон: слева сидел около нее слегка подвыпивший Прозоров, который под столом напрасно старался прижать своей тощей ногой жирное колено м-ше Эммы, справа – Сарматов, который сегодня врал с особенным усердием. В течение десяти минут он успел рассказать, прищуривая один косой глаз, что на последней охоте одним выстрелом положил на месте щуку, зайца и утку, потом, что когда был в Петербурге, то открыл совершенно случайно еще не известную астрономам планету, но не мог воспользоваться своим открытием, которое у него украл и опубликовал какой-то пройдоха, американский ученый, и, наконец, что когда он служил в артиллерии, то на одном смотре, на Марсовом поле, через него переехало восьмифунтовое орудие, и он остался цел и невредим.

– Ах, виноват, – поправился Сарматов, придавая своей щетинистой, изборожденной морщинами роже серьезное выражение, – у меня тогда оторвало пуговицу у мундира, и я чуть не попал за это на гауптвахту. Уверяю вас... Такой странный случай: так прямо через меня и переехали. Представьте себе, четверка лошадей, двенадцать человек прислуги, наконец орудие с лафетом.

– Я слышал, что одним колесом вам придавило голову? – спокойно заметил Вершинин, улыбаясь в свою подстриженную густую бороду. – А планету вы уже открыли после этого случая... Я даже уверен, что между этим случаем и открытой вами планетой существовала органическая связь.

– Отстаньте, пожалуйста, Демид Львович! Вы все шутите... А я вам расскажу другой случай: у меня была невеста – необыкновенное создание! Представьте себе, совершенно про-

¹⁰ Выскочки (*фр.*).

зрачная женщина... И как случайно я узнал об этом! Нужно сказать, что я с детства страдал лунатизмом и мог видеть с закрытыми глазами. Однажды...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.